

4

Вера Кестанерова

Annotation

Автобиографический роман «Здравствуй, молодость!» о молодежи 1920-х годов.

- [В. К. Кетлинская](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ПОРА СТУДЕНЧЕСКАЯ](#)
 - [ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ПРОФЕССИИ](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

В. К. Кетлинская

Здравствуй, молодость!

Поздний рассвет выбивается из тумана, будто расталкивая его локтями. И туман, только что застилавший все вокруг, нехотя отползает, сжеживается, припадая к болотистой равнине, по которой идет поезд, — должно быть, и поезд, торопясь, разрезает и отталкивает его влажную толщу. Солнца еще нет, но все полно приближением дня — в сером небе с каждой минутой нарастает жемчужное свечение, такое же дивное свечение пробегает по качающейся поверхности тумана, и он все плотнее прижимается к земле, так что из-под него постепенно выпрастываются низкорослые березки, взметнувшиеся на взгорках среди болот, потом голые ветви кустарников, а кое-где и кочки, поросшие голубикой. Жесткие листочки голубики, рыжий мох, уцелевшие на ветвях сухие листья — все сейчас жемчужно светится.

— Брр, какая безотрадная картина, — глянув в окно, говорит сосед по купе и, кинув полотенце на плечо, выходит.

Вот тебе и раз! Значит, он не увидел этого дивного свечения?..

Еще в мурманской библиотеке, читая Метерлинка, я переписала в заветную тетрадку: «Серые дни бывают только в нас самих». Сколько раз убеждалась — верно! Но тогда тем более в нас самих — свет радости, вопреки всем бедам и сложностям рождающий способность удивляться многоцветью жизни и впитывать ее прелесть?..

Из коридора доносятся последние известия, передаваемые поездной трансляцией. Беспокойный мир! — то одно, то другое, то далеко, то близко — тревоги, тревоги, тревоги... «Легкой жизни нам не обещают телеграммы утренних газет» — так писала Маргарита Алигер. Так оно и есть.

А за окном — поселки, мосты, виадуки и снова болотистые низинки со скудными кустарниками, уже последние перед городом. Вот-вот начнут двоиться, троиться, разбегаться пути, вот-вот возникнут приземистые, с глухими стенами здания складов и мастерских, водокачки, служебные домики, пустые составы на запасных путях — предвестники большой станции. Все сотни раз видано-перевидано в такой же ранний утренний час, и все же тянешься взглядом к знакомым предвестникам, и маршевая музыка, запущенная оптимистичным поездным радистом, звучит в лад настроению, и солнышко выплыло наконец из-за мглистого горизонта,

подсветив жемчуг розовым и золотым. И вдруг взгляд выхватил еще далекие, неожиданные силуэты зданий — много-много силуэтов, изменивших знакомую окраину. Одинаковые по форме, обращенные то шириной фасадов, то узкой торцовой стеной к приневской равнине, подсвеченные солнцем и охваченные понизу мутной полоской тумана, они кажутся сейчас не всамделишными, не надоедливо-стандартными, а прекрасными, почти сказочными. Стоят сами по себе, а вокруг — ничего, низменность, безлюдье. Когда же они успели вырасти тут, обозначив новую границу города?

Маршевая музыка оборвалась. Щелчок — и торжественный голос:

— Граждане пассажиры, поезд прибывает в город-герой, четырежды орденоносный Ленинград!

Тоже знакомо, привычно, а каждый раз щекоток горделивого волнения. *Мой город.*

Вот ведь как — мой! Не в нем я родилась, не здесь начала самостоятельную жизнь, первые трудовые усилия приложила тоже не тут. Приеду в Севастополь — и такой он родной даже в своем новом облике, восставший из руин совсем иными, непохожими зданиями, разве что чертеж улиц, белый ракушечник стен да синий блеск моря, врезающегося в город просторными бухтами, — они-то не изменились, томят поисками сходства и отличий и постоянно присутствующей болью заочно пережитой трагедии... Приеду в Мурманск, под его белесое небо, в почти неузнаваемый многоэтажный город среди лиloveющих сопок, — дома! Побываю в Петрозаводске, глотну холодка разбежавшегося на вольной воле онежского ветра, похожу по наклонным, скользящим к озеру улицам — еще один дом родной. И все же... Спросят меня: откуда? — говорю: ленинградка! — и сама себя ловлю на хвастливой интонации.

Да разве я одна? Пожалуй, любой из моих сограждан гордится званием ленинградца, даже если не в этом городе родился, если только *причастен...*

Как оно проникает в душу, чувство причастности городу? Да у каждого по-своему, и не всегда разберешься, что и когда возникло...

Вспоминаю: первой студенческой весной, в пору экзаменов, мы вылезали из мансарды общежития на плоскую, разогретую солнцем крышу. Мальчишки из соседних комнат как по команде вылезали тоже, считалось — усиленно зубрим, но стоило кому-нибудь сказать смешное — захохочем все, легко оторвавшись от физики или сопромата, и пошло, и пошло!.. В такой веселый час, когда меня переполняла беспечная радость существования, я вдруг сама не знаю почему оторвалась от болтовни товарищей, оглядела все, что открывалось с нашего поднебесья, и

внутренне ахнула, впервые увидев то, на что глядела ежедневно. Увидев *город*. Глаза отметили безукоризненную перспективу Литейного и плавный взлет моста, перекинутого через Неву на Выборгскую сторону, тускло-золотой шпиль Петропавловской крепости — он, как указующий перст, был нацелен на застывшее в небе белое-белое облако, — старый деревянный мост через Большую Невку (какие там шатучие, трухлявые доски!) и краешек Петроградской стороны с купами деревьев ликующе-зеленого цвета, какой бывает только весной, адмиралтейскую иглу с корабликом («... и светла адмиралтейская игла»), массивный даже издали купол Исаакия («врезан Исаакий в вышине») — и крыши, крыши, крыши... Еще я увидела то, что скрыто от глаз, — Невский, такой строгий днем и пугающе зазывный в ночных огнях, и Медного всадника, который «рукой железной Россию вздернул на дыбы», и широко распахнувшую город Неву с ее «державным теченьем», и каменный спуск со львами — под прикрытием одного из львов мы целовались с Палькой недавним пронзительно ветренным вечером, и Летний сад, куда водили гулять Евгения Онегина, и перехваченную аркой, задумчивую Зимнюю канавку, где погибла пушкинская Лиза, и сине-золотую Мариинку, где я успела приобщиться к оперному пиршеству голосов, и университет с длиннющим коридором, по которому запросто ходило столько великих людей, и Ростральные колонны (вот что такое, оказывается, ростры!), и «безлюдность низких островов»... Все слилось воедино — виденное, узнанное, пережитое и угаданное, строки любимых стихов и восторг юности. Потрясение было внезапно и коротко. Пусть через несколько минут я снова болтала и смеялась как ни в чем не бывало — в ту минуту потрясения я полюбила *город* сильно и навсегда.

Но поняла я это гораздо позже. Зародившееся чувство как бы поднималось по ступенькам, и с каждой ступенькой ширилось восприятие, обретало новые оттенки.

Демонстрации. Они еще не стали привычными, они несли в себе энергичнейший заряд действия — время было напряженное донельзя, гражданская война окончилась, но шла ожесточеннейшая борьба экономическая и политическая, *кто кого*, так определил эту борьбу Ленин; еще только восстанавливалось после страшной разрухи хозяйство, а нужно было соревноваться с новой, набирающей силу нэповской буржуазией, вытеснять ее — работой вновь пущенных заводов, советским твердым рублем, первыми советскими машинами, мыслью и энергией «красных директоров» и первых специалистов советской выучки... Все это отразилось в самодельных лозунгах и плакатах. Институты рапортовали,

сколько инженеров, врачей, агрономов, библиотекарей они подготовили, учителя и комсомольцы — сколько неграмотных научили грамоте, на разукрашенных грузовиках разыгрывались целые сценки — рабочий бил молотом нэпмана в котелке, толстопузого кулака и попа-пройдоху. Каждая рабочая колонна рапортовала цифрами выпущенных изделий и поднимала высоко над головами эти изделия или макеты — огромную электрическую лампочку, макет станка, макеты дизеля, паровоза, трамвая, веер цветастых тканей, гигантскую книгу и не менее гигантский моток пряжи... Когда во главе краснопутиловской колонны прошел, чадя, первый советский трактор, сколько было радости! На сегодняшний взгляд маленький, слабосильный, даже смешной, в те дни он был общим любимцем, этот чадящий колесный тракторок «Фордзон-Путиловец»!.. А когда над потоком демонстрантов проплыл во много раз увеличенный советский червонец, люди отбивали ладони, аплодируя ему, твердому, деятельному добру молодцу, пришедшему на смену обесцененным миллионам и триллионам, чтобы навести порядок в нашем очень молодом государстве. Мы, молодежь, любили демонстрации, пели так, что садился голос, и норовили, торжественно пройдя мимо трибуны, застрять где-либо поближе к ней, чтобы все увидеть, ничего не пропустить. Осознавали мы это или нет, но личное «я» растворялось в праздничном и трудовом многолюдстве, возникало «мы», то счастливое «мы», которое я впервые ощутила на мурманских субботниках, только теперь это «мы» стало громадным. И как же приятно было, что и ты так или иначеходишь в эту громадину — какая ни есть, девчонка, неумеха, а тожеходишь!..

Припоминаю — наравне с этими большими впечатлениями запал в душу один разговор с Андрей Андреевичем... Работала я тогда на шпагатной фабрике. Рядом с нашим отделом, где верещали прядильные автоматы и работающие на них девушки, помещался почти кустарный отдел полуавтоматов — прядильщик сучил пеньковую ленту вручную, станок только скручивал шпагат и наматывал его на катушку. Работали там одни мужчины, в основном пришедшие из деревни. Мы их боялись — от деревни отошли, в городе набрались озорства. Исключением был Андрей Андреевич — он работал на фабрике давно, старые работницы рассказывали, что раньше он умел только расписаться да подсчитать выработку, зато в ликбезе учился охотней всех, быстро пристрастился к чтению и в библиотеке уже много лет числился лучшим читателем. К нам, девчонкам, он относился добродушно-покровительственно, рукам и языку воли не давал и товарищей своих удерживал. Я любила поговорить с Андрей Андреевичем, если выдавались свободные минуты, всегда — в дверях, «на

границе» между нашими отделами. Однажды пожаловалась: проклятая пенька, пыль забивается и в нос, и в рот, и даже под косынку. Андрей Андреич согласился: «Верно, пылица», но, поразмыслив, добавил:

— Хорошего в ней мало, конечно, так ведь на свете много таких работ, когда пыль, или жара, или сквозняк, есть и опасные работы, но кто-то же должен их делать? А без шпагата, между прочим, не обойтись. Не знаю, сколько ты успела наработать, а моим шпагатом можно весь земной шар опоясать.

— Ну уж...

— Грамотная? Сосчитай. И свою выработку прикинь.

С подсчетами у меня не вышло — делила, множила, складывала, пока не запуталась совсем... Да и что мои пустяковые километры шпагата в сравнении с длиной экватора! И зачем мне опоясывать земной шар? Все равно на пеньковой веревочке никуда его не потащишь. Все же с тех пор я время от времени прикидывала, сколько еще намотала шпагата, ближе ли к заданным сорока с гаком тысячам километров. Именно там, на пыльной шпагатной, пришло ко мне ощущение причастности к общему труду: пусть мы не выпускаем турбины, как ребята с Металлического, или текстильные машины, как ребята с завода Карла Маркса, или электрические лампочки, как светлановские девчата, — без нашего шпагата тоже не обойдешься!

Несколькими годами позже начались поездки по стране... Ах эти журналистские скитания налегке, когда ежедневно возникают новые приманки и новые проблемы, и чем больше удастся увидеть и узнать, тем тебе ясней, что видела мало и ничего толком не знаешь!.. На самых завлекательных маршрутах, как правило, не бывает экспрессов, гостиниц и асфальтовых шоссе. Мечта журналиста — попутный грузовичок, который и по проселку проедет, и по жердевке прогремит, и из непролазной грязи выкарабкается. Наголодаешься и замерзнешься, не раз промокнешь до нитки, стопчешь до дыр подметки, до боли натрудишь мускулы, толкая застрявшую машину, а ходишь довольная, усталости не даешь ходу, до всего тебе дело и повсюду ты — своя. В таких поездках срок командировки всегда короче чем нужно, денег в общелк, в домах для приезжающих нет ни одной свободной койки, а в столовую прибегаешь, когда в меню остались одни биточки — вездесущий вариант хлебобулочных изделий. Все это не беда, выручка неизменно находится: вчерашние незнакомцы уже друзья, и ночлег устроят, и обсушат, и накормят, и подвезут куда нужно, а уж порасскажут — только научись отделять байки от правды.

В таких вот скитаниях по далеким краям я и ощутила по-новому Ленинград. Попадешь к геологам, после начального знакомства

обязательно услышишь вопрос: «Ну как там у нас?» — экспедиция-то, оказывается, ленинградская! Побываешь у корабелов — тут, само собой, ленинградцев полно, морской город! Залюбуешься на стройке мощными кранами — а они с нашего завода имени Кирова; заберешься на верхотуру к монтажникам — ленинградские, кочующие с одной стройки на другую, неунывающие парни... Знакомишься с проектом гидростанции — в Ленгидэпе разработан; рассматриваешь макет будущего города — ленинградские архитекторы... Даже в нанайских и гиляцких стойбищах повстречаешь земляков и землячек — врачуют и учительствуют, а местные организаторы чаще всего учились в Ленинграде на факультете народов Севера... Это теперь, когда (не без ленинградской помощи) выросли во всех областях страны тысячи новых заводов и десятки вузов, творческая роль нашего города не так бросается в глаза, а в годы первых пятилеток куда ни приедешь — повсюду видишь воплощение знакомых слов: Ленинград — кузница новой техники, кузница кадров. Ну и гордишься и радуешься.

В 1941 черном году все оказалось под угрозой.

Город наш, как обостренно воспринимали мы тебя в дни нараставших бедствий, как глубоко осознали все, связанное с твоим великим именем! Ведь в первых же фашистских листовках, сыпавшихся вместе с бомбами с недоброго неба, наш город именовался Петербургом. Самую память о Ленине, об Октябре, о революционной и созидательной роли Ленинграда хотел Гитлер стереть с лица земли. О, он знал, на что замахнулся! Но и мы знали, что защищаем. И думали — легче умереть, но не сдать и не отдать. Я говорю — «мы», иначе и не сказать, в тех противоестественных для человека, немислимых условиях только «мы» и существовало. Отдельные люди падали замертво — от бомб, от снарядов, от голода. Мы все вместе — боролись и выстояли. Так было... Но как сказать об этом немислимом сегодняшними словами? Как передать правду тогдашних чувств в их неистовом накале, в их простой, солдатской самоотрешенности... и чтоб сегодня — даже самой! — не показалось выпреним, или сентиментальным, или плакатным?.. И если мои читатели — те, что не пережили девятисотдневную осаду, а может, еще и не жили на свете, — если они захотят поверить мне, ну, хотя бы из уважения, то смогут ли умом и сердцем понять, что мы бывали тогда и счастливыми? Среди тысячи бед, без хлеба, без тепла, без воды и света — счастливыми ощущением полной самоотдачи, предельного использования всех своих способностей и сил?! «Я могу!» А ведь до смерти не было и четырех шагов, достаточно было остановиться, опустить руки, сказать себе: больше не могу...

Однажды, сидя с Ольгой Берггольц у топящейся времянки, со вздохом разрывая книги и подкидывая в нестойкий огонь их глянцевиные листы, я сказала, стыдясь неуместного слова, что иногда вопреки всему чувствую себя счастливой.

— И ты *тоже!* — воскликнула Ольга и тихо засмеялась. — А ведь если кому-нибудь сказать, решат, что мы с голодухи сошли с ума.

Но она все-таки сказала об этом в стихах — «такими мы счастливыми бывали...», «о да, мы счастье страшное открыли...». Ее негромкий голос был голосом осажденных ленинградцев, и *мы* — стиснувшие зубы, чтоб выдержать испытание до конца, — *мы* узнавали себя в ее простых словах: «Ведь это мы, крещенные блокадой! Нас вместе называют — Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом».

Но в том далеком году, когда я приехала в этот город учиться, я и подозревать не могла, чем он станет в моей судьбе. Протопав через гулкие замусоренные вокзальные переходы и залы, я вышла на ту же самую площадь Восстания, куда выхожу и теперь, подкинула на плече чемодан и портплед, стянутые ремешком, и остановилась, чтобы осмотреться и отдышаться. Тогда еще не было ни раскинувшейся на квартал «Октябрьской» гостиницы напротив вокзала, ни круглого здания метро — площадь замыкали старые, довольно-таки обшарпанные дома. Вдоль тротуаров в ряд стояли извозчичьи пролетки, толстые извозчики, перепоясанные красными кушаками, назойливо зазывали седоков и переругивались между собой, у некоторых из них на головах было нечто вроде цилиндров. Посреди площади возвышался памятник царю Александру III — грузная фигура с короткой шеей и лицом тупого жандарма восседала на не менее грузном битюге (эта конная статуя работы Трубецкого обладала таким обличительным, сатирическим смыслом, что было удивительно, как его не уловили царские сановники; сделанная Демьяном Бедным после революции надпись на постаменте: «...торчу здесь пугалом чугуном для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья» — не меняла, а только подчеркивала заложенную в скульптуре идею). Огибая с двух сторон Пугало, со звоном и скрежетом проходили трамваи — с Невского на старо-Невский и обратно, некоторые были так переполнены, что люди висели на подножках, а позади вагонов катили мальчишки, пристроившись на «колбасе». Тяжело цокая копытами по камням мостовой, тянули нагруженные телеги и платформы здоровенные ломовые коняги, похожие на своего чугунного собрата. По всем направлениям сновали торопливые прохожие, уворачиваясь от

столкновения с приезжими, с их корзинами и узлами. Тут же крутились беспризорники, поглядывая, где что плохо лежит и кто, на свою беду, зазевался...

Дождя не было, по воздух был сырой, я подставила ему разгоряченное лицо, и он мигом смыл с него вагонную одурь. Коротко взглянула налево — там уходила вдаль двухкилометровая перспектива Невского: хорош! — но это успеется, еще исхожу его из конца в конец. Пока что нужно добраться до общежития Карельского студенческого землячества, на угол Литейного и Кировской, для чего сесть в трамвай № 19. А он как раз и вывернул из-за углового дома и остановился по ту сторону Пугала, Ой, поспеть бы! Я припустила напрямик через площадь, чуть не попала под ломовика, проскочила перед носом трамвая — испуганный вагоновожатый оглушил меня трезвоном и бросил вслед крепкое словцо. Опомившись под защитой Пугала, я увидела, что мой № 19 трогается, в два прыжка догнала его и сумела вскочить на подложку задней площадки. Вскочить-то вскочила, по, как оказалось, с недозволенной стороны, путь преграждала железная решетка. Я вцепилась в решетку, с ужасом чувствуя, что трамвай набирает скорость, скорость норовит столкнуть меня вместе с оттягивающим назад портпледом и эта сила сильнее моих немеющих рук, а внизу — колеса...

— Из деревни, что ли? Тетеря!

— Вот уж дура так дура, жить ей надоело!

— Понаехало провинциалов, трамвая не видали!

Под такие обидные рассуждения какие-то доброхоты ухватили меня за шиворот, пока один из них возился с затвором решетки, затем меня втянули на площадку и приставили к стенке вагона. Отходя от пережитого ужаса и стараясь унять мелкую дрожь в коленях, я виновато улыбалась и говорила спасибо, ничуть не обижаясь на брань, смешанную с нравоучениями. Проехали совсем недолго, а меня уже подталкивали к выходу: «Проедешь, растяпа, вот твой Литейный, угол Кировской!» — затем меня обругали входящие в трамвай: «Куда прешь, дай людям войти, де-рев-ня!» — и наконец я на Литейном, у дома № 16...

Вхожу во двор, поднимаюсь по крутой лестнице на самый-самый верх, долго звоню у заветной двери, но звонка не слышу — наверное, он испорчен, начинаю стучать — сперва робко, потом что есть силы, но и на стук никто не откликается. Отчаявшись, дергаю дверную ручку — дверь не заперта, за нею пустая передняя с веником в углу и длинный коридор...

Бочком протискиваю в дверной проем свою поклажу и решительно переступаю порог — прямо в неведомую студенческую жизнь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОРА СТУДЕНЧЕСКАЯ

Она была коротка, моя студенческая жизнь, гораздо короче, чем полагается. Перебираю свои «рассыпушки» о той поре, серьезные и забавные, — да, тут действительно все врассыпную, связного повествования из них не сложишь. Да и нужно ли? Ведь и в моей душевной жизни это была пора некоторого разброда, метаний, невнятицы. Пусть же остается клочковатым и мой рассказ. Так же, как в первой книге; здесь все правда, никаких выдумок, только кое-что дописываю да изменяю некоторые имена, поскольку не знаю, где сейчас тот или иной человек, и если жив-здоров, не рассердится ли, что пишу о нем без разрешения, да еще о делах молодости, ведь может случиться, что он теперь солидный профессор, требующий от студентов посещаемости-успеваемости, а студенты прочитают и скажут: «А сами-то, профессор, вместо лекций с девушкой сирень воровали» — или никакой не профессор, просто уважаемый человек пенсионного возраста, склонный поучать внуков, а внуки прочитают и посмеются: «Дед, а дед, а ты-то, оказывается, был шалопай из шалопаев, а на нас ворчишь...».

С такими поправками — вот они, мои «рассыпушки», студенческие.

Внешкольный институт

Студентка я была липовая — меня приняли на подготовительное отделение как «лицо, не имеющее среднего образования». Если говорить откровенно, у меня не было и низшего, четырехклассного, так вышло, что севастопольский экзамен экстерном за «старший приготовительный» оказался единственным школьным экзаменом в моей жизни.

В те годы начального советского строительства при высших учебных заведениях появились своеобразные, революцией рожденные факультеты — рабфаки. Факультеты для подготовки в вуз рабочих, крестьян, красноармейцев. Такова была неотложная потребность страны — как можно скорей подготовить своих, преданных революции специалистов. И такова была насущная потребность победившего народа — открыть быстрейший доступ к высшему образованию своей молодежи, отвоевавшейся, наработавшейся, наголодавшейся, выросшей в лишениях, но жаждущей знаний и мечтающей применить их для созидания новой

жизни. Этим молодым людям предстояло в три-четыре года изучить то, что школьники изучают десять лет, а потом еще четыре, а то и пять лет проучиться в институте... Трудно? Очень трудно. Далеко не все это напряжение выдерживали. Но иного решения не было.

Наше подготовительное отделение отличалось от рабфака тем, что программу средней школы надо было пройти и сдать за год, предполагалось, что сюда будут поступать практики культурно-просветительной работы — библиотекари, избачи, клубные активисты, организаторы самодеятельности, то есть люди, во всяком случае, грамотные, окончившие если не все девять, то хотя бы семь классов школы.

Внешкольный институт был, вероятно, самым молодым вузом страны, его задачи определялись довольно расплывчато — подготовка культпросветработников. Ни опыта, ни традиций, ни установившихся программ в институте не было и быть не могло. Шли поиски, нащупывались методы, и все, конечно, проверялось на студентах (учебные эксперименты не проведешь на мышах и кроликах!); удача или неудача — все отражалось на будущем специалисте. Плохо он подготовлен или хорошо, хвалят ли его или ругают — он подопытный кролик и на его опыте шлифуется программа и методика институтского обучения ради новых поколений студентов. Когда сегодня я прохожу мимо Института культуры имени Крупской, расположенного в здании, выходящем на Марсово поле и на набережную Невы возле Кировского моста, и вижу толпы студентов, входящих в него и выходящих, я мысленно кланяюсь почтенному институту, выросшему из нашего Внешкольного, где я недолго пробыла в качестве подопытной зверюшки.

Поначалу институт помещался на Надеждинской (ныне улица Маяковского), в доме, принадлежавшем до революции спортивному обществу «Сокол»; дом был для института тесен, а спортивный зал на зиму закрывался — не протопить. Подготовительное отделение не было ничем отделено от основных курсов, аудитории менялись — приходя в институт, нужно было поглядеть на доску объявлений, где твоя группа сегодня занимается. И никто не мешал пойти не в свою группу, а пробиться в самую большую аудиторию, где читает литературу для старших курсов профессор Конский: он владел даром слова, рассказывал много интересного, к тому же был красив — студенток набивалось столько, что сидели по двое на одном стуле.

Поступали мы с Палькой Соколовым одновременно, по путевкам комсомола. Палька поступил на рабфак (если не ошибаюсь, Технологического института), — я на подготовительное Внешкольного.

Поступив, ненадолго возвращались домой в Петрозаводск вместе, почти всю ночь простояли на площадке вагона, целовались, решали пожениться в год окончания институтов и мечтали, мечтали... Как мне рисовалось ближайшее будущее? Вхожу в свой институт, в светлый Храм Науки, — и самые светлые, необычайно интересные и важные знания так и сыплются в мою шестнадцатилетнюю голову, а в другом институте так же насыщается знаниями Палькина умная, но упрямая голова; все остальное время мы — вместе, и весь Питер — наш, для нас, и мы не устаем познавать его улицы, его музеи, его театры... Все время — вместе? Ну, не совсем, я знала, что Палька будет жить не в общежитии, как я, а с мамой и сестренкой где-то на Разъезжей, возле Пяти углов. По не так уж это далеко, говорил Палька, да и что значит расстояние, если двое людей хотят видеть друг друга?!

Все вышло по-иному. И прежде всего не было Храма Науки. На подготовительном нужно было зубрить те же школьные начала физики, математики, химии и биологии, даже, несмотря на нашу взрослость, по тем же школьным учебникам! Учитель математики Дерябкин задавал нам на дом из задачника Малинина и Буренина, памятного мне по детским годам, те же унылые задачи про бассейны с трубами, про поезда и пешеходов, вышедших в разное время навстречу друг другу, и даже про купца, отмерявшего покупателю сукно... Своих лабораторий во Внешкольном не было, поэтому иногда мы занимались в Герценовском педагогическом; мне очень нравились занятия по биологии — мы резали и рассматривали под микроскопом ткани лягушки или наблюдали, как мельтешат бактерии в капле воды. Интересны были и физические опыты (те, что неизменно не получались у мамы, когда она бралась учить нас!), но опытов бывало немного, Герценовский тоже не мог постоянно нас пускать.

На мое счастье, я с детства обладала хорошей грамотностью, видимо естественно усвоенной в процессе чтения. Художественную литературу я знала в гораздо большем объеме, чем того требовала программа, и любила ее, хотя вряд ли сумела бы написать сочинение на тему «Женские образы Тургенева» или «Черты героя нашего времени по Лермонтову». Историю я знала бессистемно, по романам и отдельным, попавшим под руку научным книжкам, но программа подготовительного отделения давала исторические знания в таком ничтожном объеме, что восполнить пробелы не составляло никакого труда, так что по истории, так же как по литературе и «письменному русскому», занятия можно было пропускать. Впрочем, старательность новичка я утратила довольно быстро, усвоив, что пропускать можно и другие занятия, кроме лабораторных (потому что они интересны), — ведь за нами никто не следил, от нас, как и от студентов

настоящих, никто не требовал посещения лекций. Студенты рассуждали так, как искони рассуждают все студенты: зачем гнуться весь год, подойдет сессия — вот тогда навалимся! Поскольку я жила в общежитии землячества, где соседствовали студенты самых разных вузов, примеры были у меня перед глазами: политехники и путейцы иногда по несколько дней не ездили в свои институты и даже за высшую математику хватались под конец семестра, когда экзамен был уже на носу. Это я наблюдала, а вот качества их торопливо схваченных знаний проверить не могла, да и не задумывалась над подобными проблемами; все студенты были старше меня, а потому казались и умней, и образованней.

Храм Науки, сиявший издали, оказался обыкновенной школой, к тому же плохо организованной. Состав «подготовишек», как нас прозвали студенты, был весьма пестрый и разновозрастный, моих ровесников или ребят такого же комсомольского опыта не нашлось; подружилась я только с казачкой Любой, хотя и она была старше меня. А началась дружба вот с чего. Надо сказать, что институтские парни — и наши, и студенты основных курсов — довольно настойчиво приставали к девушкам и нередко прибегали к «идейным» попрекам.

— Мещанство! Ждешь, пока маменька замуж просватает? А еще комсомолка!

Ничего подобного я не встречала ни в Мурманске, ни в Петрозаводске, меня это озадачивало и сердило. К Любе приставали особенно назойливо: красивая, статная, чернобровая, с ярким румянцем на смуглых щеках — настоящая казачка из песни! Люба не сердилась, когда к ней приставали, а лениво отмахивалась:

— Давай отваливай! У меня знаешь какой муж? Комиссаром был, чуть что — за пистолет хватается.

Однажды Люба спросила, нельзя ли ей переночевать у меня, «а то в общежитии удивляются, почему я никогда у мужа не ночую».

— А что, в академии нельзя?

Ее муж, курсант военной академии, иногда заходил в наш институт и окидывал Любиных поклонников таким жгучим взглядом, что их будто ветром сдувало.

— Да никакой он не муж, — с улыбкой призналась Люба, — наш станичный парень. Зову, чтоб ребят попугать.

— А кто же твой муж?

— Да нема его, — рассмеялась Люба, — придумала, чтоб не лезли. А тебя как-то встречал такой быстроглазый, это кто?

Краснея, я сказала, что товарищ... друг... кончим институты —

поженимся. Люба присвистнула.

— Когда кончите? Ну-ну... — И посоветовала: — А нашим скажи — муж. И очень ревнивый.

Я сказала. Помогло.

С Любой мы сидели рядом на занятиях, вместе убегали на лекции профессора Конского или прочь из института побродить по городу. Но Люба жила в институтском общежитии, в комнате с тремя такими же «подготовишками», одна из них была нашей старостой и требовала, чтобы «вся комната» исправно готовила уроки. Меня подтягивать было некому.

Скажу сразу — испытание самостоятельностью я не выдержала. К весне, когда подошли выпускные экзамены, у меня образовался, как говорят студенты, «сплошной завал», пришлось зубрить ночи напролет, и все равно не успеть было, так как выяснилось, что даже по литературе и истории без подготовки идти на экзамен нельзя — кое-что нужно повторить, а историческую хронологию учить заново, она вылетела из головы начисто. На «русский письменный» я пошла спокойно и без ошибок написала довольно заковыристый диктант, но потом меня начали спрашивать правила, чего я не ожидала, правил я не знала совсем и с трудом избежала «неуда». Биологию я готовила охотно, хотя помогал мне готовиться очень симпатичный студент с университетского биофака, изрядно меня отвлекавший. Все же сдала на «отлично» и добрую память о генах и передаче наследственных признаков пронесла незамутненной через годы, когда генетику отрицали и изгоняли.

Впереди оставались наиболее страшные экзамены — физика, химия и математика. Их нужно было учить всерьез, решая множество задач, не сделанных в году. И в это же время в разных институтах начались весенние балы, меня приглашали... ну как пропустить такое удовольствие?! И в это же время в нашем общежитии открылась запись на билеты: предполагалось коллективно взять все дешевые места на пароход, идущий по маршруту Нева — Ладога — Свирь — Онежское озеро — Петрозаводск! Три дня на воде, да еще в компании друзей — как отказаться?!

Я принимала приглашения на балы и условно записалась на пароход, а пока зубрила химию. Было известно, что «подготовишкам» разрешается оставить на осень два экзамена, но не больше, тогда переведут на первый курс, выплатят стипендию за каникулы, а осенью за сентябрь, если в течение этого месяца сдашь хвосты. Великолепно! Я оставлю только один хвост — математику. Физику и химию надо успеть...

Как ни странно, я учила химию по толстому университетскому курсу Реформатского. Почему? Во-первых, мне не удалось ухватить в библиотеке

тонкую школьную книжицу Григорьева, а во-вторых — из пижонства перед студентами-химиками. Они удивлялись:

— Однако требования у вас!

— А вы думали? Конечно!

До сих пор не понимаю, как я сумела за несколько дней уложить в голове все эти формулы и реакции, но когда я шла на экзамен, я — честное слово! — отлично знала весь том Реформатского (впрочем, такую нервную, психологическую и интеллектуальную загадку представляют многие тысячи студентов, сдающие огромный материал без запинки, а назавтра забывающие его так же, как забыла я, — во всяком случае, мой младший сын, химик, не без оснований считает меня абсолютной невеждой по части химии).

Экзамен мы сдавали всей группой, по очереди. Я вызвалась одной из первых и очень хотела понравиться экзаменатору, потому что наш преподаватель физики заболел и химик по совместительству принимал и физику. Не помню, сложны ли были вопросы или мне повезло на легкие, но отвечала я бойко, пространней, чем требовалось (ведь не по Григорьеву учила!). Химик кивал, довольный.

— Прекрасно, — сказал он, — вы вообще так хорошо учитесь или только по химии?

И тут вся группа, подыгрывая мне, зашумела:

— О-о, она вообще! Она у нас! Она всегда!

Записывая в мою зачетку жирное «отлично», химик просмотрел остальные отметки:

— А почему не сдали физику?

— Физику я приду сдавать вам во вторник, — твердо сказала я, хотя до того рассчитывала сдавать не через три дня, а через неделю.

— Физикой вы занимаетесь так же успешно, как химией?

И снова подыграли мне товарищи:

— О-о! Она у нас! Физику особенно!

— Ну что ж, — сказал химик и не менее жирно записал «отлично» в соседней клеточке, — чтоб вам не трудиться ходить еще раз... Желаю вам хорошо отдохнуть на каникулах.

— И вам тоже! — вскакивая, воскликнула я и помчалась домой брать билет на пароход, потому что теперь-то я успевала наверняка. Никаких угрызений совести я не чувствовала.

На следующее утро в самом радужном настроении я пришла в институт оформлять документы и получать стипендию. И вдруг...

Свеженькое объявление на стене гласило, что закончившие

подготовительное отделение переводятся на первый курс и получают стипендию за время каникул только в том случае, если сдали экзамены по всем *основным* предметам; для ясности основные предметы были перечислены, математика, конечно, в этот список входила, а вот химия нет...

Все мои попытки договориться с начальством ни к чему не привели. Меня похвалили за то, что я сдала все экзамены, кроме одного, и сообщили, что преподаватель математики Дерябкин приедет из отпуска через десять дней, чтобы принять экзамены от опоздавших, «как раз успеете подготовиться и будете отдыхать со спокойной душой».

А пароход, на котором уплывает почти все наше землячество через три дня? А то, что за десять дней в одиночку мне никак не осилить арифметику с ее бассейнами и поездами, алгебру и геометрию, которых я почти совсем не знаю?!

Не помню, как я сумела узнать дачный адрес Дерябкина, но я его узнала. Дерябкин жил в Лесном, за парком Лесного института. На что я надеялась? Сама точно не зная на что, я отправилась в Лесное. Было у меня всего пятнадцать копеек, так как я твердо рассчитывала получить сегодня стипендию и вчера мы с Лелей, моей подружкой, малость кутнули, купив на ужин полфунта колбасы. Чтобы проехать главную часть длинного пути на трамвае, нужно было идти пешком на Выборгскую сторону, к Финляндскому вокзалу, — оттуда начиналась семикопеечная «станция», кончавшаяся на 2-м Муринском, а там при удаче можно было не покупать билет на следующую «станцию», а проехать зайцем еще одну, две, а то и три остановки, пока кондукторша не заметит твоих уловок. Были кондукторши, которые жалели студентов и делали вид, что не замечают зайцев, но были и такие крокодилы, что заранее приглядывались, у кого куплены билеты до 2-го Муринского, и стоило трамваю тронуться в дальнейший путь, поднимали скандал, останавливали вагон и высаживали зайцев, да еще с криком вдогонку. Мне попалась такая крокодилица, что я еле унесла ноги.

От 2-го Муринского долго шла пешком, в Лесном долго искала малоизвестную окраинную улочку, а на ней дачку, где жил Дерябкин. Полуденное июньское солнце, безветрие, зной...

— На рыбалку ушел, — сказала пожилая женщина, выглянув в окно дачки.

На моем истомленном лице выразилось, наверно, такое огорчение, что женщина подобрела:

— Из города пришли? Посидите в саду, он должен скоро вернуться.

Я села на ступеньку веранды, блаженно вытянула усталые ноги, оперлась спиной о столбики перил... и проснулась, когда надо мною раздался веселый голос:

— А это что за спящая нимфа?

Не могу сказать, чтобы я хорошо знала в лицо преподавателя математики, у которого должна была заниматься весь учебный год по три раза в неделю... но это был несомненно, он, только посвежевший, как бы разглаженный, в холстинковых штанах, в белой панамке набекрень и с ведерком, где плескалось несколько пескарей, а может, и не пескарей, а каких-то иных рыбешек. Рядом с ним стоял мальчишка лет двенадцати с удочками на плече — сын или внук?

Представилась я не очень вразумительно, так как сама неясно понимала, зачем пришла.

— Так-с. Вовремя не сдали, а ждать недосуг, — по-своему понял меня Дерябкин, — ну, посидите немного, я переоденусь.

Он был в благодушном настроении, до меня доносилась его болтовня о рыбалке, видимо с женой, из комнаты в кухню. Вероятно, он экзаменовал бы предельно снисходительно. Но я не могла соответствовать и наиболее снисходительным требованиям!

И вот страшная минута наступила. Дерябкин вышел на веранду уже без панамки, в пиджачке, но в тех же холстинковых штанах и сандалиях на босу ногу. Сел, позвал меня и сказал:

— Ну-с, что будем предпринимать?

Запинаясь, краснея, сама пугаясь того, что говорю, я призналась, что ничего не знаю, что новое объявление застигло меня врасплох, что у меня на руках билет, а денег восемь копеек, что я буду заниматься математикой все лето, и если он мне поверит и поставит зачет, я даю честное слово, что осенью...

— А не обманете? — не удивившись моей просьбе, спросил он и начал разглядывать мою зачетку.

Я поклялась, что не обману. Осенью, сразу после начала занятий, сама разыщу его и сдам экзамен.

— Ну смотрите! Записываю вашу фамилию.

Я была искренно убеждена, что буду все лето заниматься математикой и осенью честно сдам ее. Если бы кто-то заподозрил меня в том, что я злоупотребляю доверчивостью милого Дерябкина, я бы возмутилась. И в то же время какой-то второй, паршивый человек внутри меня с недоброй наблюдательностью проследил, что фамилия записана на обложке школьной тетради, валявшейся на столе веранды... что тетрадка снова

легла на стол... а в зачетке появилась спокойная оценка «хорошо» и подпись с росчерком...

Когда я легкими ногами бежала на 2-й Мушинский, чтобы там сесть в трамвай, паршивый человечек молчал (он вообще замолчал надолго). Я строила планы: уеду к Илье и Тамаре, они из идейных соображений учительствуют в глухой деревне, там, вдали от соблазнов, буду ежедневно заниматься и в сентябре поражу Дерябкина превосходными знаниями. Да и на самом деле математика нужна, знать математику необходимо, для самой себя учить буду — так я себе внушала.

Когда я приехала спустя две недели в село Тивдию к молодым супругам, я застала их в такой ссоре, что три дня выясняла их отношения. Илька оказался сумасшедше ревнивым человеком и сходил с ума каждый раз, когда Тамара с кем-либо из тивдийских мужчин беседовала, хотя бы и по школьным делам. Ильку я кое-как усовестила, мы отпраздновали примирение, а на следующее утро я попробовала заговорить о том, что мне нужно заниматься, нельзя ли попросить школьного учителя математики... Тамара сделала страшные глаза и толкнула меня коленом под столом, я смолкла на полуслове. На мою беду, из-за учителя математики ссора и разразилась! Просить его о чем бы то ни было? — нет, ради бога, бормотала сестра, Илька решит, что это предлог, и все начнется сначала!..

Вопрос о занятиях повис в воздухе, зато выяснилось, что в Тивдии нет комсомольской организации, я не могла с этим примириться, обегала всю молодежь — и организацию мы создали, а потом затеяли вечер с инсценировкой и концертом, потом еще что-то... И тут совсем неожиданно приехал Палька Соколов...

Я и не заметила, как подошел срок возвращения в институт.

Не буду скрывать — я подло бегала от Дерябкина, если видела его в институтском коридоре или на лестнице. И где-то в глубине души радовалась, что он наверняка забыл меня и, уж во всяком случае, забыл мою фамилию, а та тетрадка давно потеряна...

Спустя года четыре я твердо решила восполнить недопустимый пробел в моем образовании. Друзья нашли студента-математика, который согласился со мною заниматься. Думая, что я готовлюсь поступать в институт, он учил меня умело и требовательно. Но когда я призналась, что никуда не поступаю, а просто *хочу знать*, он восхитился и оставшуюся часть урока посвятил восхвалениям, что доставило мне удовольствие. Во время следующего урока он снова восхищался больше, чем учил, что стало однообразным, а затем стал восхищаться так много и часто, что пришлось прекратить занятия. На второй заход моей решимости уже не хватило.

Больше полувека прошло — и какого! — а мне до сих пор мучительно стыдно, стоит вспомнить милого Дерябкина в панамке набекрень, школьную тетрадку с моей фамилией на обложке и мои искренние обещания...

Литейный, 16

Нет местожительства более затягивающего, чем студенческое общежитие, тут создается обособленный круг интересов и отношений со своим кодексом чести, своими бытовыми устоями и требованиями и, конечно, складывается стиль учебный, иногда трудолюбивый, и тогда он подтягивает даже лентяев, иногда «не очень», и тогда с неустойчивыми душами происходит то, что произошло на первом году со мною, хотя были и совсем иные предпосылки.

Меня подселили к студентке-медичке старшего курса. В темном платье, с гладко зачесанными и стянутыми в узел темными волосами, не улыбкавая, с негромким голосом, она меня немного испугала — тургеневская девушка? монашка?.. Будущий врач — это ей подходило (она и в самом деле всю жизнь врачевала детей, когда я о ней услышала спустя много лет, она руководила детской больницей). С юности очень серьезная, Люда приняла мое вселение с нескрываемой досадой.

— Ты же обещал! — упрекнула она старосту, который меня привел.

— Обещал, а что делать? В мужских комнатах еще есть места, а в девичьих ни одного. Куда ж мне девать ее?

— Может, переселить ко мне кого-либо из старшекурсниц? — сказала Люда, оглядев меня. — Сам видишь...

— Так ведь все утряслись уже!

Тогда Люда впервые обратилась ко мне:

— Ну, будем знакомиться. Вы не обижайтесь. Я кончаю институт, очень много занимаюсь, хотела дожить тут одна. Как вас зовут? Вера? Что ж, Верочка, постараемся не мешать друг другу.

Люда оказалась очень славным человеком, но дружбы между нами, конечно, быть не могло — уж очень мы отличались и по возрасту, и по развитию. Люда так усидчиво изучала свои толстые мудреные книги, распухшие от закладок, что я старалась поменьше торчать в комнате, боялась дотронуться до книг и только в отсутствие Люды позволяла себе осторожно полистать анатомический атлас.

Наша комнатка выходила единственным низким окошком на крышу

дворового флигеля. Потолок у нас был скошен, в дымоход выведена труба от железной печки-буржуйки, которой и отапливалась комната, — кафельная печь поглощала слишком много дров. По утрам Люда вставала рано, растапливала печурку, ставила чайник и еще успевала позаниматься до торопливого завтрака и ухода в институт. Я же потягивалась в постели и вставала уже после ее ухода, так как до Внешкольного добегала минут за пять. Зато вечером к приходу Люды печку протапливала я, я же готовила чай, и мы чаевничали вместе, понемногу узнавая друг друга в неспешных вечерних беседах. Раз в неделю устраивали «баню» — нагревали в кухне воду и затем у себя в комнате над тазом мылись с головы до ног, натирая друг друга мочалкой.

Обычно же я видела Люду в одной и той же позиции — спиной ко мне, лицом к окну за нашим единственным столом; рука подпирает щеку, на столе раскрытая книга и вокруг книги, книги, книги, все медицинские. От пользования столом я отказалась сразу, мои немудрящие учебники помещались на тумбочке у кровати, но я предпочитала не заниматься у себя, а шла в одну из девичьих комнат, а то и к мальчикам и почти всегда находила там дело более интересное, чем собственное ученье. Так уж создана студенческая душа — привлекательно не то, что нужно сделать самому, а то, что нужно другому.

Студенты технических вузов постоянно стонали: «Заваливаюсь с чертежами!», «С черчением труба!» А мне чертить нравилось. У политехников и технологов чертежи были непонятные и сложные — какие-то детали машин, сечения, разрезы... Ко зачем мне понимать их? Автор чертежа все рассчитает и разметит в карандаше, а я веду по карандашу тушью, потом подчищаю резинкой и бритвой. Мальчишки хвалили меня за аккуратность, хотя главным, конечно, было то, что при добровольной помощнице чертить не так скучно. Сколько я их вычертила тушью, этих чертежей! Но особенно я любила помогать лесникам. План местности — почти поэма! Нежнейшей голубой акварелью заливаешь ленту реки со всеми ее поворотами, расширениями и сужениями, желтой краской обозначаешь пески, густо-зеленой — леса и совсем темной кончиком почти сухой кисточки наносишь по всей площади леса елочки — такие, как рисуют дети. Для лугов шел зеленый посветлей, для болот к зеленой краске добавлялась синяя, в смеси получалась размытая голубовато-зеленая плоскость и по ней синие штришки. Делаешь, а сама чуть ли не видишь эту местность с рекой, песчаными излучинами, заречным лесом и болотцем в низинке, чуть ли не слышишь, как там птицы щебечут!.. Привлекали меня и сами лесники — Шурка и Лис.

Длиннорукий и длинноногий Лис был человеком добрейшим и обстоятельным, именно он поддерживал чистоту в их комнате, кое-как сводил концы с концами в общем хозяйстве и умудрялся быть гостеприимным — угостят чаем, да еще и вытащит из какого-то тайника леденец или кусочек сахара. Он же заботился об учебе — своей и Шуркиной. На Лиса достаточно было поглядеть, чтобы раз и навсегда понять — симпатичнейший парень, положительная личность, чего никак нельзя было сказать про его товарища, явного шалопаю и бездельника, главного сердцееда нашего землячества. Хотя Шурка не был красавцем, но он как-то умел подать себя — игрой глаз, улыбочками, многозначительными полуобъяснениями, отработанной повадкой. Студенческая зеленая тужурка красила его и придавала изящество его невысокой и несколько тщедушной фигурке. Учился он без охоты, «сидеть в лесу» после окончания института не собирался, но диплом специалиста получить хотел, — как говорили, прочные семейные связи заранее обеспечивали ему хорошее место в лесном ведомстве... Карьера? Мы презирали это понятие, но в данном случае оно всплывало в памяти, так как о работе Шурка явно не мечтал, а из наук интересовался лишь одной — «наукой страсти нежной». Да и то чтобы весело, без душевных потрясений.

Что меня прельстило в этом новом для меня и не вызывающем уважения шалопае — сама новизна типа? Или прорвалось сквозь слишком раннюю серьезность собственное легкомыслие? Или душа требовала передышки, отвлечения от того смутного, что у меня происходило с Палькой Соколовым? Как бы там ни было, я была довольна, что Шурка сразу начал за мною ухаживать, как за герцогиней (о жизни герцогинь и рыцарей мы имели довольно четкое представление по романам Дюма), писал и подбрасывал под мою дверь витиеватые записки вроде такой: «Покорный Вашему, но не своему желанию, поехал в институт учить геодезию» — и подписывался «Ваш друг, раб, рыцарь и защитник», что мне по молодости лет нравилось. Зато у Люды случайно прочитанная записка подобного рода вызвала брезгливую гримасу и сдержанное замечание в мой адрес: «Я бы такому „рыцарю“ поворот от ворот!» Смешно вспоминать — мне стало обидно, я заподозрила, что чересчур серьезная Люда мне завидует!.. Впрочем, когда в середине зимы Люда от нас уехала и со мною поселилась добрая, смешливая Леля Цехановская, Шуркины шансы понизились круто, потому что золотая моя подружка прямо-таки возненавидела «этого вертопраха, шаромыжника, провинциального донжуана, прощельгу несчастного!», и если раньше Шурка решался посвистывать за дверью, подавая мне сигналы, то при Леле он избегал даже

проходить по нашему концу коридора. Видно, сам понял, что хорош. Раньше, чем поняла я.

Наше общежитие, занимавшее две мансардные квартиры комнат на десять — двенадцать на Литейном и еще несколько квартир на Кировской, отличалось от обычных студенческих общежитий тем, что тут жили карельские студенты разных вузов, причем в некоторых комнатах селились однокурсники, в других — друзья детства, в третьих — уроженцы одной местности, скажем олончане, лодейнопольцы, петрозаводчане... Конечно, они были очень разными и по возрасту, и по социальному признаку, и по культурному развитию и, конечно же, очень разными по своим профессиональным устремлениям и интересам, но именно поэтому жители нашего общежития были как бы срезом, частичкой всего студенчества того времени. А оно, это студенчество первых послереволюционных лет, было весьма пестрым.

Среди старшекурсников попадались достаточно взрослые люди, которые начали учиться еще до революции, пересидели дома трудное время, а теперь приехали доучиваться; были комсомольцы и коммунисты (из таких я запомнила Александра Иванова и его однофамильца Мишу Иванова), которые в свое время кончили гимназию, потом с головой ушли в революционную работу, успели повоевать, стать в Карелии заметными общественными деятелями — и вот потянулись за знаниями; другие бывшие гимназисты, дети обеспеченных, иногда и буржуазных родителей, были сугубо беспартийными людьми; некоторые из них надеялись на то, что с нэпом начинается постепенная реставрация, недоброжелательно сторонились комсомольцев и, строго говоря, только формально могли называться беспартийными. На младших курсах можно было встретить юношей и девушек из рабочих и бедняцких деревенских семей, которым только революция открыла путь к образованию, их было еще немного, но все же они были — счастливые, жаждущие знаний...

Наблюдались различия и между институтами. Так, «аристократами» считались путейцы и горняки, затем шли политехники и технологи. Конечно, и там революция многое перешерстила, но комсомольцы в этих институтах были в меньшинстве и порой чувствовали себя неуютно.

В нашем Внешкольном институте, поскольку он был создан после революции, социальное и политическое размежевание было куда меньше, чем в старых вузах, но и у нас оно существовало, проявляясь по второстепенному, но заметному признаку: одни студенты обращались друг к другу (конечно, если были мало знакомы) со словом «товарищ», другие демонстративно откликались только на обращение «коллега».

Студенческую форму — фуражки и тужурки — носили многие, но чаще, конечно, те, кто предпочитал обращение «коллега», причем некоторые из них даже в то время шиковали белой шелковой подкладкой; их и до революции называли белоподкладочниками, а в годы, о которых пишу я, слово «белоподкладочник» относили ко всем политическим чужакам.

В нашем общежитии люди разных взглядов и разного социального, политического облика уживались довольно мирно, поскольку злостных чужаков я у нас не помню, но дискуссии о материализме и идеализме, о буржуазной или пролетарской демократии, о роли интеллигенции в обществе шли часто, и порою весьма бурно. Кстати, это было полезно для нас, комсомольцев, — в поисках доводов мы не ленились читать Ленина, Энгельса, Плеханова, в поисках примеров ворошили книги по истории. А где же лучше оттачиваются убеждения, как не в полемике!

Для такой мелюзги, как я, общение со студентами разных институтов и разных возрастов было само по себе полезным даже без дискуссий: расширяло кругозор, намечало «выходы» в разные слои общества, в незнакомые миры неведомых профессий — врача, горняка, путейца, лесника, механика... Только расспрашивай, только слушай!.. Но и существенный недостаток земляческой жизни тоже был (как я понимаю теперь): общежитие быстро стало центром моих интересов, дружб, развлечений, да и попросту всего нелегкого быта, поэтому связь со своим институтом была слабее, чем у тех, кто живет в институтском общежитии или в семье; взаимоконтроля в землячестве не было совсем, хочешь — ходи на лекции, не хочешь — хоть неделю там не показывайся, никто не упрекнет, потому что никто и не знает, где ты бегаешь.

А где я бегала?

Бегать я не бегала, а ходила много, не жалея ног и не очень щадя подметок, хотя и вздыхала над ними. Каждый день выбирала новый маршрут, всегда длинный, часа на три. Иной раз ходила с казачкой Любой, иногда с Лелей Цехановской или с кем-либо из мальчишек, но чаще одна, так как в одиночестве больше видишь, лучше примечаешь, сосредоточенней думаешь. Выйдешь из дому к Неве и по набережной идешь, идешь до самого ее устья, нагладишься на все, чем тебя одаривает левый берег, перейдешь по последнему мосту на другой и правобережными набережными — назад, через Васильевский остров и Петроградскую сторону вплоть до Выборгской, откуда уже еле-еле дотягиваешь ноги до родного Литейного. В другой раз доберешься до Васильевского острова и давай утюжить его ногами — от Биржи и до самого взморья, по проспектам, по «линиям», удивляющим новичка тем, что на каждой улице

две «линии», четная и нечетная, как бы две улицы на одной (впервые попав туда, я и понять не могла, как это так: смотрю на табличку — 6-я линия, прошла до соседней улицы, уверенная, что там будет 7-я, а там уже 8-я). Так же я изучила — не торопясь, в несколько походов — Петроградскую сторону, потом сделала вылазку по Фонтанке из конца в конец, потом по другим каналам — Екатерининскому (ныне Грибоедова) и Мойке. Если были деньги, трамваем доезжала до кольца, обычно расположенного на самой окраине, поброжу там, разберусь, куда попала, и пешком обратно, по пути позволяя себе свернуть в сторону, если померещится кто-либо привлекательное. За два студенческих года я узнала город лучше, чем за всю последующую жизнь, когда для таких долгих прогулок уже не хватало времени.

Случались у меня (нет, в данном случае надо сказать — у нас) и другие прогулки. Честно говоря, воровские. За дровами. Дров тогда не хватало, на общежитие по ордерам давали совсем немного, а на рынке можно было купить и вязанку, и воз великолепных, березовых или сосновых, пиленых и колотых, сухих до звона, но за такую цену, что студенты и подступиться не могли.

Для обычных прогулок мы сворачивали от Литейного моста налево — там открывались самые красивые петербургские места, самый широкий разлив Невы. Для воровских дел нужно было свернуть направо — вдоль всей набережной Робеспьера штабелями лежали дрова, завезенные на баржах летом и осенью. К нашему благу, дрова были метровые, а охранял их старик сторож с ружьем на веревке. Так как схватить в темноте осину никому не хотелось, мы еще днем производили разведку — прогулочным шагом идешь мимо длинных штабелей и высматриваешь, где береза, а где дрова похуже; математики и другие представители точных наук даже высчитывали шагами расстояние от угла Литейного до березовых поленьев, я и подобные мне гуманитарии прикидывали на глаз и тоже не ошибались, тем более что березовую кору и на ощупь отличишь от любой другой. Вечером, когда набережная погружалась во мрак, мы начинали спектакль: идем парочками, тесно прижимаясь друг к другу, проходя мимо сторожа, воркуем, как влюбленные, иногда останавливаемся у штабеля и даем сторожу понять, что мы целуемся и пялить на нас глаза неэтично. Сторож и не пялил, к тому же он был в тяжелом дворницком тулупе, с опущенными и завязанными под подбородком ушами меховой шапки, чаще всего он и не слышал, что мы тут ходим. Техника умыкания была такая: тихонько снимаем метровое полено потолще и посуше (по весу сразу чувствуется, сухое ли), затем твой спутник прижимает его к себе, если удастся — под

пальто, ты прижимаешься к полену и к спутнику, сплетенными руками вы оба стараетесь придержать тяжелое полено, не давая ему выскользнуть... Нужно было дойти до Литейного и завернуть за угол, а там уж можно было вскинуть свое приобретение на плечо и шагать до дому не таясь. В иной вечер мы совершали по три-четыре таких вылазки.

В малопочтенном дровяном предприятии участвовали старшекурсники наравне с подготовишками, партийные и беспартийные, выходцы из социально чуждых классов наравне с ребятами самого что ни на есть пролетарского происхождения. Понятие о социалистической собственности еще не привилось, покупать дрова на рынке могли только нэпманы, а штабеля на набережной от наших набегов как будто и не уменьшались.

Мы же получали от этих набегов-спектаклей чисто детское удовольствие. Да и не так уж далеко ушли мы от детского возраста. Осенью и весной, стоило пойти дождю, по коридору общежития кто-нибудь пробегал, стучал в двери комнат и выкрикивал:

— Ребята, давай плешей!

«Плеши» — это профессора и преподаватели с лысынами. В каждом институте находилось несколько «плешей», их заносили в список, нужно было записать сорок фамилий, тогда листок с фамилиями бросали в окно — считалось, что сорок «плешей» прекратят дождь и снова засияет, подобно лысине, солнышко. Не знаю уж почему, но даже по ряду институтов нам удавалось наскрести тридцать восемь или тридцать девять «плешей», а вот сороковую никак не находили, бежали куда-то еще, скажем во вторую мансардную квартиру, через лестницу, там тоже было общежитие, или коллективно ждали, когда вернется из Политехнического аккуратный Алексей, не пропускающий лекций, или университетский химик Ленечка с лабораторных занятий, и, завидев одного из них, хором кричали:

— Скорее давай плешь!

«Плеши» требовались без обмана, не с проплешиной, а с настоящей лысиной, иначе, говорили, не подействует.

Жили мы, конечно, впроголодь и не огорчались — считалось, что все студенты живут впроголодь, на то они и студенты. В пайке нам выдавали пшено, подмороженный картофель и мясо, которое часто бывало «с душком», так что Лелька его долго отмывала и вымачивала в растворе марганцовки. Затем мы варили похлебки — по очереди пшленно-картофельную или картофельно-пшленную, разница была в дозировке. А ели пополам с болтовней и смехом, тогда «лучше проходит».

Недалеко от нас на Литейном процветали нэпманские рестораны, туда

ходила нарядная публика, из дверей сочился на улицу упоительный запах жареного мяса, или лука, или рыбы. Мы с Лелей относились к этим запахам стоически: это все для нэпманов, ну их к черту, мы же нэпманами быть не хотим, проси не проси — не согласимся, значит, и принимаиваться к их жратве незачем. Но вот кондитерская в нашем доме... Ее витрина сверкала прямо перед глазами — выходим ли мы из-под дворовой арки, идем ли домой, никак не миновать эту витрину с румяными булочками, с присыпанными орехом кренделями, с пирожными, облитыми шоколадом или смазанными кремом... Зажмуришься, а глаза и в щелочку видят такое великолепиие.

Хуже всего, что нам приходилось бывать и в самой кондитерской, мы покупали там *ситный* — на редкость вкусный хлеб, который теперь почему-то почти не встречается. Уже с порога нас обволакивал душный запах сдобы, пряностей, хорошего кофе. После получения стипендий мы с Лелькой позволяли себе не зажмуриваясь рассмотреть все прелести, выставленные напоказ — захотим, так купим! — но покупали только два фунта сахара — не рафинада, он был слишком дорог, и не песка, он невыгоден, нужно пить «внакладку», — нет, мы покупали цветочный сахар, он стоил гораздо дешевле, хотя некоторые его куски настораживали своим неестественно ярким, ядовитым цветом, особенно зеленые и розовые. Я бы предпочла булку с маком, но Лелька была сладкоежкой и о цветочном сахаре начинали мечтать дня за три до стипендии.

Насколько я помню, гастрономические мечты обуревали студентов главным образом перед стипендией, в другое время их пресекали как беспочвенные. Самый тихий из наших студентов, Ленечка, однажды размечтался не в меру:

— Если б можно было потратить всю стипендию сразу, а потом не помереть с голоду, я бы съел сразу двадцать пирожных!

Тут же разгорелся спор — можно ли съесть в один присест двадцать пирожных. Ленечка набивался в подопытные:

— Ну, со стипендии попробуйте! В складчину! Держу пари — съем. Двадцать пирожных!

Ленечка был, что называется, милягой, его любили, хотя и посмеивались над ним, да и как не смеяться, если Ленечка все делал нелепо, с наивным простодушием. Влюбившись в одну из наших девушек, он довел ее до иступления, подкарауливая в коридоре, так что бедняжка и в уборную не могла пройти без сопровождения. Коллективным воздействием Ленечку заставили отказаться от такого способа ухаживания, и тогда Ленечка вдруг заявил, что не будет ни мыться, ни бриться, пока она

не полюбит его. Мыться его все же принудили товарищи по комнате, пригрозив, что иначе выселят вон. Но брить насильно не стали, и Ленечка начал быстро и бессистемно обрастать рыжеватым волосьем — оно висело у щек и на затылке длинными, свалывшимися и зажиревшими космами, как у нынешних хиппи, а вокруг рта и на подбородке пробивалось пучками, как у готтентотов. Виновница этого превращения пугливо вздрагивала, увидав Ленечку, и придумывала всякие уловки, чтоб избежать встреч лицом к лицу.

Этот самый Ленечка и взялся съесть на пари двадцать пирожных.

В день, когда по институтам выдавали стипендию, наше общежитие возбужденно и не без некоторой зависти сколачивало нужный капитал. Двадцать вкладчиков толпой ввалились в кондитерскую, заказали двадцать пирожных и даже из человеколюбия разрешили Ленечке выбрать, какие он хочет. Хозяин кондитерской, покачивая головой, усадил Ленечку за столик, поставил перед ним блюдо пирожных и стакан воды, а мы встали полукругом и жадно смотрели, как пирожные, при одном виде которых у нас начиналось слюнотечение, быстро исчезают во рту товарища. Третье, пятое, шестое... Подумаешь, почему не съесть такую прелесть?! Седьмое... Теперь Ленечка ел медленно, все чаще запивая водой, на лбу у него выступила испарина, мы слышали его затрудненное дыхание... Не помню уж, сколько он их вдавил в себя, этих пирожных, на блюде оставалось меньше половины, когда Ленечке стало плохо и он, закричав жалобным заячьим криком, повалился со стула на пол...

В больнице Ленечку еле-еле спасли. Говорили, что у него произошел заворот кишок или что-то вроде. И еще говорили, что перед тем Ленечка два дня ничего не ел.

— Дубина стоеросовая, — ругнулась Лелька. — Да и мы идиоты! На эти деньги съел бы каждый по пирожному — какой бы был счастливый день!

На остатки наших денег она купила фунт цветочного сахара — на два фунта уже не хватило.

Обсудив происшествие и насладившись чаем вприкуску, мы легли спать, и я, как всегда, заснула безмятежным сном. Разбудил меня отчаянный плач. Было рано, только-только рассветало. Лелька в ночной рубашке стояла у окна и плакала в голос. От сахара, который был положен на подоконник, остался изгрызенный пустой кулек да кое-где на полу цветные крошки. Обследовав пол и плинтусы, мы нашли еще кусок сахара — зеленый, обкусанный и наполовину втянутый в мышинный лаз.

С этого злополучного утра Леся объявила войну мышам. Война с мышами быстро переросла в школярское развлечение... Но началось все

гуманно. Покупная мышеловка была отвергнута Лелькой: соскакивающая с крюка железяка прямо-таки перерубала мышиную шею.

— Фу, какая мерзость, — сказала Лелька, — не мышеловка, а гильотина.

Миша Иванов, готовый сделать для Лельки все что угодно, к тому же инженер-механик четвертого курса, сконструировал «гуманную» мышеловку и привлек приятелей, так что организовалось массовое производство. Через день-два Мишины мышеловки стояли во всех комнатах и во всех углах. Покупные стояли тоже (раз уж потратили деньги, не выбрасывать же их), по мышши оказались умными, обходили гильотины и попадались исключительно в «гуманные» ловушки, где и метались живые-невредимые.

Итак, мышши попадались одна за другой... но что с ними делать, куда девать? Убивать их жалко, топить — не менее жестоко, выпускать — нелепо. Кто нашел оригинальный выход, не помню, по предложению всем пришлось по душе. Было это, очевидно, ранней весной, поскольку в солнечную погоду студенты уже начали выползать на крышу, а нэпманские дамы еще щеголяли в модных тогда каракулевых полупальто, называвшихся саками. Так вот, держа в руках мышеловку с перепуганной мышью, мы лежали, свесив головы, возле водосточной трубы и ждали, когда какая-нибудь нэпманская красотка в каракулевом саке и высоких, до колена, зашнурованных ботинках появится на улице, семена на гнутых каблучках. Все у нас было рассчитано до секунды: открывалась дверца, мышшь попадала в трубу и вылетала прямо под ноги красотке. Истошный визг несчастной иной раз доносился и до нашей верхотуры.

Мы готовы были распахать по мышеловкам все свои скудные запасы сахара или пайкового шпика, лишь бы длилась веселая двойная охота...

Но самыми ребячливо-озорными и — вперемешку — самыми взрослыми, отзывчивыми на чужую печаль мы бывали в те вечера, когда собирались у чьей-либо печурки петь песни.

Что это за чудо такое — песня! Только что все были разобщены, заняты своими делами и переживаниями, кто-то устал и собирался завалиться спать, кому-то к завтраму закончить чертеж, у кого-то плохие вести из дому... Но вот сумеречным вечерком собрались два-три человека с гитарой или без гитары, неважно (у нас в общежитии гитары не было), приоткрыли дверцу печурки, чтобы дать немного свету, и кто-то один, как бы пробуя голос, заводит:

Когда я на почте служил ямщиком...

Также вполголоса и будто нехотя второй подтягивает:

Любил всей душой я девчонку...

Никто не служил на почте и, наверно, никто не видал ямщиков, но песня берет за сердце и тех, кто ее начал, и тех, кто тихо один за другим втягивается в комнату и, стараясь не мешать, пристраивается на краешке стула, на койке, на полу... Теперь уже много голосов, страдая и сочувствуя, ведут рассказ о большой любви:

Куда ни поеду, куда ни пойду,
Все к милой сверну на мину-у-ут-ку...

Лица у поющих размягченные, блики живого огня высвечивают блестящие глаза и полоски влажных зубов, и плавные движения чьих-то чутких рук, помогающих песне... Песня всех соединила — и, честное слово, все стали красивыми.

Доходит очередь до «Лучинушки». Ее щемяще-нежная и горестная мелодия погружает нас в такие глубины чувств, куда мы еще и не заглядывали, несколько минут назад мы и не поняли бы, что можно так чувствовать, и несколько минут спустя опять не поймем, но в песне воспринимаем и проживаем все:

Догорай, гори, моя лучина,
Догорю с то-бо-ой и я...

Как происходит переход от этой обреченности горя к безудержной веселости студенческой песни про неразумного Веверлея, не умевшего плавать? Только отзвучала «Лучинушка», еще и не заговорить, не улыбнуться, но кто-то занялся печуркой, поворошил угли, подкинул чурбачков, а еще кто-то тенорком доверительно сообщил:

Пошел купаться Веверлей...

Низкие мужские голоса тотчас подтвердили — Веверлей.

Оставив дома Доротею...

И снова низкие голоса подтвердили — Доротею.

А затем все голоса вместе, мужские и женские, повели рассказ, придавая ему драматическую, даже трагическую окраску:

На помощь пару, пару, пару пузырей-рей-рей
Берет он, плавать не умея!

Как тут хороша была Лелька с ее старательным звонким голоском и деревенской, от сердца идущей выразительностью пения, грустна ли песня или шутлива — все равно, выразительностью напитан каждый звук, каждое слово! И как оттеняли Лелькину звонкость мужские, басовито подтверждающие голоса:

Но злой судьбы коварный рок —
 коварный рок!
Хотел нырнуть вниз голово-ою,
Но голова —
 ва! ва! —
 тяжеле ног —
 ног! ног!
Она осталась под водою!

Случалось, старые студенты заводили красивую студенческую песню «Гаудеамус игитур», на латыни, никто латыни не знал, даже «старики», что когда-то вызубрили текст. Но было известно, что песня призывает веселиться и радоваться жизни, пока молоды, — почему же не спеть такой приятный призыв! Впрочем, допеть никогда не удавалось — никто не помнил всех слов до конца.

Потом запевали другую студенческую песню — «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Слова в ней, в общем-то, были грустные, почти безнадежные — «что час, то к могиле короче наш путь», «кто знает, что с нами случится впереди»... Но кто же в молодости ощущает близость

могилы и думает, что случиться может плохое? И основная протяжная, даже заунывная мелодия перебивалась бойким речитативом: «Посуди, посуди, что там будет впереди!» — и песня вдребезги разлеталась на десяток озорных припевов, где были и «стаканчики граненые», и неведомый «веречун», и Сергей-поп, Сергей-дьякон, а с ними и дьячок, и многое другое...

Тут мы все превращались в ребят: целиком отдаваясь озорным словам и ритмам, мы выкрикивали припевки во весь голос, кто как сумеет громче и задорней, глаза сверкали, улыбки тоже сверкали, от уха до уха, ноги отбивали такт, руки вертелись в такт — весело было и забирало целиком, оттесняя любые огорчения и неясности жизни!..

Раз начавшись, веселье захватывало всех без удержу. Накричавшись вволю в припевках, заводили смешную, залихватскую «Там, где Крюков-канал и Фонтанка-река», в этой песне тоже было где разгуляться...

Так они и запомнились, эти вечера у печурки, как «самые-самые». Голоса у меня не было и слух не ахти, но в компании это забывалось, ценили не голос, а умение полностью отдаться песне.

Когда пели о любви (а все песни о любви, как назло, о несчастливой), я ощущала где-то рядом, недопущенными, грустные и недоуменные мысли о Пальке, потому что все у нас запуталось, я не могла не чувствовать все увеличивающееся расстояние между нами и не могла понять, почему так, когда мы оба этого не хотим... Но песня сменялась другою, веселой, и я забывала о Пальке и замечала Шуркин гипнотизирующий взгляд, насмешливо говорила себе: гипнотизирует! — но ничего не имела против: игра увлекала новизной, а было мне без малого семнадцать лет.

Палька Соколов

Однажды в Москве, поднимаясь по лестнице нашего литературского дома, я остановилась перед мраморной доской с именами писателей, погибших на фронтах Отечественной войны, и содрогнулась, увидев такое родное имя — Соколов Павел Илларионович. Страшно. От теплого, живого, ни на кого не похожего — лишь строка позолоченных букв на холодном камне.

То, что он пробовал силы в карельской литературе и какое-то время был секретарем писательской организации в Петрозаводске, это как-то прошло мимо меня, а вот о гибели его мне сообщили: он был комиссаром одного из партизанских отрядов в Брянских лесах и погиб в последнем

бою, перед встречей отряда с наступающими частями Советской Армии. Было Соколову тогда чуть больше сорока лет.

Если пройти по канве его короткой жизни, обозначится прямой и достойный путь человека, смолоду ставшего коммунистом: четырнадцатилетний комиссар в Олонецком уезде, потом комсомольский активист, солдат и политработник на войне с белофиннами, снова комсомольский активист, журналист и редактор, затем руководитель ТРАМа — Театра рабочей молодежи — сперва в Ленинграде, потом в Москве... Мобилизованный партией на работу в деревню — начальник политотдела МТС где-то в Сибири... Опять журналист, литератор... А с первого дня войны — фронт, бои в окружении, партизанский отряд, снова бои... и смерть в бою.

Такова главная линия. Четкая, прочная. Но по канве извилистыми, своевольными узорами разбросаны этапы трудной, порой мучительной душевной жизни очень самобытного человека — с вечными поисками, ошибками, странностями, сомнениями и откровениями. Одною из странностей этой жизни было то, что она все же не выхлестывала за пределы канвы, не отступала от крепко простеганной главной линии, — в конечном счете Павел умел подчинять страсти сознанию и выполнял свой долг, не балуя себя поблажками.

Из людей, встреченных мною в жизни и хорошо узанных, Павел Соколов был, пожалуй, самым причудливым. Не знаю, обладал ли он литературным талантом, но человек он был бесспорно талантливый, только его талантливость и своеобычность сочетались с капризностью и неспособностью к длительному усилию, а недюжинную энергию иногда гасили приступы непонятного ему самому тоскливого безволия, когда ему хотелось все забросить, все «пустить под откос»... Было ли в этом некоторое позерство? Несомненно. Однако искренность его была тоже несомненна, он страдал от своей неуравновешенности, осуждал себя и в такие минуты говорил, что нужно расстаться, потому что он принесет мне мученья, а не счастье.

— Ты умеешь радоваться жизни, а я нет, — так он сказал мне еще в первые годы нашего знакомства, — может, все дело в том, что я с детства изломанный человек.

Какие события искорежили его детство? Что за человек был Илларион Соколов, олонецкий крестьянин, лесосплавщик и контрабандист, от которого однажды ночью убежала жена с двумя малыми ребятами? Впрочем, ночью — так предстало в моем воображении: зима, метель, в темноту выскальзывает из дома женщина, до глаз укутанная теплым

платком, под платком у груди — младенец, глазастый мальчуган — у подола... Возможно, это произошло днем и не зимой, а летом, но какая лютая беда погнала из родного дома, из родной деревни молодую женщину с детьми в неизвестность далекого Питера, в нищету и унижения? И какой лютейшей беды нахлебалась она в чужом, равнодушном городе?..

Когда я попыталась осторожно расспросить, Палька оборвал вопросы и так помрачнел, что я зареклась любопытствовать. Лишь однажды, в пору, когда мы с Палькой жили вместе и были как будто незамутненно-счастливы, он по какому-то случайному поводу впал в неистовое возбуждение.

— А что ты знаешь о мерзости жизни?! — закричал он, бледнея. — Что ты видела?! Может, видела, как девочек продают богатым мерзавцам на потеху и какие они *потом*, эти девочки пятнадцати лет?! А когда совсем старый, истасканный, весь прогнивший от дурных болезней миллионер требует шесть девиц — не одну, а шесть! — чтоб растеребили, раздразили его похоть... видела такое?! Нет?! А я в замочную скважину смотрел, пока мама не оттащила, не отхлестала по щекам, не заперла на ключ... Вот мое детство — эти вонючие коридоры, эти...

Он разом смолк, выбежал из комнаты, вернулся уже притихшим, обнял меня.

— Я дурак! Забудь, детка, тебе и не нужно это знать, забудь!..

Когда мы приехали в Питер учиться, Палька поселился с матерью и сестренкой на Разъезжей улице, неподалеку от Пяти Углов. Мать работала на фабрике, если не ошибаюсь — имени Анисимова, сестренка училась в четвертом классе. Среди студентов считалось, что жизнь «дома» — благодать, как бы мало ни зарабатывали в семье, какой-никакой обед всегда найдется, это не на стипендию жить в одиночку! В конце месяца мы все ходили голодные. У Пальки голода не было ни в начале месяца, ни в конце, по свою скудную стипендию он отдавал маме, сам же обычно ходил без гроша. А кругом лезла в глаза скороспелая роскошь нэпманских магазинов и ресторанов, впервые за годы нашей юности можно было и приодеться, и поесть вкусных вещей, и даже поехать к цыганам — *можно было бы*... Так ли уж хотелось этого? Палька чувствовал себя униженным и обделенным — не потому, что так уж хотел, а потому что *не мог*.

От недоедания или по другой причине у него начался фурункулез, большие лиловые фурункулы выскакивали то на шее, то на щеке, он их клеивал пластырем и раздражался, если кто-либо пытался давать лечебные советы, — страдал он не столько от боли, сколько от уродства этих болячек.

Как он учился на рабфаке? Он не любил говорить об учебе, об экзаменах и зачетах, иногда мне казалось, что само положение рядового студента он воспринимает как унижение. Самолюбивый, он должен был переламывать себя, смирать гордыню... и не очень-то это получалось, и я тут была не помощью, а помехой, именно передо мною Пальке было противно чувствовать себя ничем не выделяющимся.

Когда ему случалось подзаработать, он преобращался. Приходил аккуратненький, в белой рубашке, с галстуком, без стеснения стучал в нашу дверь, не робея перед Людой, а ко мне обращался на вы и называл Леди Солнышко.

— Собирайтесь, Леди Солнышко, приглашаю вас в очень вкусное местечко.

В лучшем кафе на Невском он долго выбирал наилучший столик и усаживал меня так, чтобы я могла глазеть на проспект и проходящую публику, заказывал пирожные и кофе со взбитыми сливками и с наслаждением смотрел, как я все это поглощаю. В такие минуты он бывал ласковым, внимательным, веселым.

Однажды вечером он властно оторвал меня от учебника и без объяснений увлек в сторону Невского.

— Ну скажи — куда и зачем?

— Ты мне не доверяешь?

Перешли Невский, вышли на угол Троицкой. Теперь эту улицу называют именем Рубинштейна, на углу — стоянка такси. В то время там же была другая стоянка: под ковравыми попонами стояли великолепные рысаки, впряженные в узкие щегольские санки, на облучках сидели хозяева лихачей в толстенных шубах, перепоясанных широкими кушаками, в бобровых высоких шапках. Катанье на лихачах стоило дорого, никто из нас и не мечтал о таком удовольствии, но мы любили постоять в сторонке и полюбоваться красавцами конями, а иногда и поглазеть на расфуфыренных дам в модных каракулевых, беличьих или кротовых шубках, которых подсаживали под локоток явные нэпманы — кто еще может себе позволить такое?

Именно сюда привел меня Палька:

— Выбирай коня, какой тебе нравится.

Все были хороши, но я выбрала красавца золотистой масти (быть может, вспомнив золотисто-рыжую Пульку моего детства?). И вдруг Палька подвел меня к санкам, шикарным движением откинул медвежью полость:

— Садитесь, Леди! — И каким-то гусарским тоном бросил вознице: — На острова!

Первый на стоянке лихач попытался вмешаться — дескать, его очередь, но Палька все тем же не своим, гусарским голосом возразил:

— *А моя дама* выбрала этого! — И совсем уж ухарски крикнул нашему вознице: — Па-а-шел!

По всем комсомольским представлениям, это был предел буржуазного перерождения, прямо-таки капитуляция перед нэповской стихией... но я была так поражена случившимся и так обрадована задорным, счастливым настроением Пальки, что и думать об этом забыла. Золотистый с места взял рысью и легко вынес сани на Невский, только полозья взвизгнули на повороте, на раскатанном снегу. В свете сменяющихся огней витрин, реклам и фонарей полого летели навстречу мохнатые снежинки, летели и таяли на щеках, на губах, залепляли ресницы. Палька крепко держал меня, то и дело как бы случайно прикасаясь щекой к моей щеке. Где мы? Я потеряла представление, кто мы, где и куда мчимся. Сладкое чувство греховности подчинило меня целиком — и оказалось таким блаженным! Сани влетели в непрочную темноту неосвещенных улиц и снова вылетели на свет, навстречу полого летящим мохматым снежинкам, мелькали перед глазами и оставались позади ряды домов с разноцветно светящимися окнами, припорошенный снегом гранит невской набережной, изгиб какого-то моста, потом другого моста, снова чередование непрочного мрака и пляшущего света. И вот — аллея среди темных, только с одной стороны побеленных стволов, высокие отвалы снега по краям аллеи, — это я или уже не я? Куда мы мчимся — и когда?.. «Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня!» (ну да, были, промелькнули рядом колонны, и мост, и два огня), «и хруст песка, и храп коня» (да, хрустел песок и всхрапывал золотистый, все это было, было!), и мой собственный шепот, и смех от полноты радости, и поцелуй на лету, на ветру, и темнота неба, и белизна снега, и кругом ни души, «безлюдность низких островов»... А может, все это было давно и только вспомнилось, и не я, а Наташа Ростова с ряжеными мчится на святках в гости, и сейчас будет дядюшка — «чистое дело марш!» — и русская пляска, какой никто не ждал от барышни, с детства воспитанной на французском... а может, вокруг вообще неведомая степь в наметах пухлого снега, а не острова на взморье и не гладь замерзшего, в торосях Финского залива?.. Может, все это причудилось и только русская птица-тройка несется во всю прыть в неведомое?..

Ничего уже я не понимала — где мы и кто, и что за длинный мост вдруг возник перед нами, и что за плавно изгибающаяся набережная, по которой мы мчимся и мчимся, так что снег из-под звонких копыт золотистого взлетает двумя облачками и смыкается за спиной возницы,

заноса нас белой пылью... И что за проспект, уходящий вдаль рядами фонарей, и почему мы вдруг развернулись поперек проспекта и круто остановились у какого-то дома...

— Приехали, — сказал Палька, мигом оказавшийся уже с другой стороны, на тротуаре, чтобы помочь мне выбраться из-под тяжелой меховой полости.

Как ни странно, над аркой ворот читалось — «Литейный пр.» и светилась на фонаре цифра «16».

Палька вынул из кармана новенький хрустящий червонец (они уже ходили наряду с тысячами и очень ценились), царственным жестом подал его вознице и сказал небрежным гусарским голосом:

— Сдачи не надо.

Чуть позже, в общезитии, опомнившись от пережитого упоения, я призналась, что зверски голодна, а Палька совсем просто сказал, что и он тоже, но у него ни копейки. Мы пошли к ребятам и пили жидкий чай, заедая его черными сухарями, для вкуса присыпанными крупной синеватой солью. Ребята сколачивали группу для ночной работы на товарной станции, в случае удачи там можно заработать по червонцу на троих... Мы переглянулись с Палькой и улыбнулись друг другу. «Сдачи не надо!» — вспомнила я. Ох, будет теперь целую ночь выгружать вагоны! Надо было поругать его, но ни ругать, ни выдавать его ребятам не хотелось.

Он заторопился домой — переодеться. Я вышла с ним на лестничную площадку, там было темно и тихо, мы стояли долго, прощались и не могли распрощаться, и счастье стояло рядом с нами, светло мерцало и сулило, сулило впереди одну только радость...

Палька не пришел ни завтра, ни послезавтра. Минула неделя — ни слуху ни духу.

Я поехала на Разъезжую. Очень страшно было — постучать, войти... Если его мама дома, что сказать? Как назваться? «Я его друг»?..

Тогдашняя Разъезжая была мрачной торговой, складской улицей. Нагруженные ящиками и бочками ломовики наперебой громыхали по бульжникам. У складов и контор толклись грузчики и безработные в надежде на случайный заработок.

Грязно-серый, облезлый — таким был дом, где жил Палька. Дверь с ободранной обивкой, узкая лестница с исхоженными ступенями и давно не мытыми окнами, сквозь которые из двора-колодца еле сочился тусклый свет. В таких домах жили герои Достоевского, по такой лестнице Раскольников шел убивать процентщицу... Соколовы жили на первом этаже. Я постояла у двери, прислушалась — за дверью ни звука. Дернула

старинный звонок-колокольчик. Шаги... женские шаги! Вся подобралась, заранее обмирая...

Она открыла дверь и, ни о чем не спрашивая, впустила меня. Лицо было моложе, чем мне представлялось, — спокойное лицо северянки, высокий лоб под зачесанными назад русыми волосами, глаза без улыбки, без любопытства — бестревожные глаза.

— Паля, к тебе, — сказала она, приоткрывая первую от входа дверь, и сразу ушла.

Как я готовилась к пристальному и пристрастному материнскому разглядыванию! — а она, кажется, и не поглядела. И в этот вечер больше не появилась и в другие дни, когда я приходила заниматься с Нинкой, никакого интереса ко мне не проявляла. Иногда предлагала чаю и вручала Пальке поднос с двумя чашками, с хлебом или домашним пирогом. Иногда через дверь сообщала сыну, что уходит на работу, и поручала проследить, чтоб Нинка вовремя легла. Только однажды, когда Пальки не оказалось дома, она привела меня в свою тесную комнатку, где не было ничего лишнего — ни салфеточек, ни безделушек, — и немного поговорила со мною о чем-то постороннем, не имеющем отношения к Пальке, а когда я высказала свою тревогу по поводу скверного душевного состояния ее сына, она чуть улыбнулась:

— Перемелется.

И тему не поддержала.

Слабые успехи дочки в школе она воспринимала с тою же невозмутимостью:

— Силой учиться не заставишь. Поумнеет — сама захочет.

Не представляла я ее себе ни в деревне под пятой злого мужа, ни в том жутком доме, где она, видимо, служила и ютилась с детьми... А может, думаю я теперь, именно пережитое выработало у нее этот философский взгляд на треволения жизни, это чувство собственного достоинства? Ни в те дни, ни позже она не вмешивалась в нашу жизнь и даже явно отстранялась от нее. А мне всегда хотелось склонить перед нею голову, только повода не находилось.

...Но что же случилось с Палькой за неделю, почему он пропал? Ничего не случилось! Я его застала лежащим на диванчике (такие диванчики с одной боковой спинкой прежде называли «козетками»), он раздраженно диктовал какой-то текст сестренке, которая при моем появлении хлюпнула носом и обратила к нежданной избавительнице покрасневшие, заплаканные глаза. Через минуту ее и след простыл, а Палька, неуклюже поднявшись и усаживая меня, начал пространно

объяснять, что Нинка нахватала «неудов» по русскому и арифметике, она лентяйка и дура, если ее не заставлять и не наказывать...

— Почему ты не приходил?

— Настроение было плохое, что ж тебя донимать им.

— Почему плохое, Пальчик?

— Что в моей жизни хорошего?

Голос злой, взгляд в сторону, губы надуты, будто и не с ним мы мчались сквозь рои мохнатых снежинок на лихих санках, не с ним пили чай с присоленными сухарями, переглядываясь украдкой, не с ним стояли на лестничной площадке и никак не могли расстаться и наше счастье, спокойное, стояло рядышком... Мне хотелось спросить: «Ничего хорошего? А я?» — и поссориться, но вместо этого я позвала обратно Нинку и закончила с нею диктовку, ахнула, увидев множество ошибок, и взялась через день заниматься с нею, чтобы до зимних каникул исправить отметки. Так началось новое мученье — накануне я целый вечер готовилась, решала Нинкины задачи и учила разные правила, чтоб не оскандалиться на уроке, а во время урока сдерживалась изо всех сил, чтоб не закричать и не ударить ее, потому что Нинка зевала, глядела по сторонам, грызла ручку и ничегошеньки не понимала или притворялась, что не понимает. Это милостивое, ленивое и вполне сообразительное существо отлично знало, что я прихожу ради ее брата, что брат, полулежа на диване, вовсе не читает, а смотрит на меня как ждет не дождется, когда я не выдержу и отправлю ученицу прочь. Тем обычно и кончалось, хотя каким-то чудом Нинка все же исправила отметки (пожалуй, своими силами, чтоб не лишиться каникулярных удовольствий). Выгнав Нинку, мы сидели в разных концах комнаты и разговаривали, или шли бродить по улицам, пока не зачленеем вконец в своих продувных одеждах, или Палька провожал меня до дому и мы опять долго стояли на лестничной площадке — одно из немногих мест, где можно было побыть вдвоем и где приближение непрощеных свидетелей прослушивалось загодя, так как лестничный проем любой звук гулко усиливал, а главное, никто не мог неожиданно открыть дверь, окинуть нас любопытным взглядом и невинно спросить, как пишется «колесо», через «а» или через «о», что любила делать Палькина бесценная сестричка.

Занятия с Нинкой давали нам повод чаще встречаться, Палька уже не мог пропадать когда вздумается. Что он радовался моему приходу, я ощущала всей своей женской сутью, но именно тогда, когда я, уверившись в этом, выглядела то ли слишком счастливой, то ли успокоившейся, Палька начинал выкидывать свои штучки: встретит в дверях при галстукке,

свежевыбритый и даже наодеколоненный, кликнет сестренку и при ней, отсекая всякую возможность объяснения, небрежно бросит; «Ну, занимайтесь, а я пойду, условились встретиться с одной нашей студенткой» — и был таков... С какой ненавистью я заставляла себя довести урок до конца, молча наблюдая, как Нинка путается в подсчетах, сколько воды втекает в какой-то дурацкий бассейн и сколько воды вытекает из него; ну кому это нужно знать? — думала я, как наверняка думала про себя и моя нерадивая ученица. При следующей встрече я пробовала говорить с Палькой холодно, так он же еще и сердился:

— Неужели ты не почувствовала, что нет никакой студентки? А уверяла, что понимаешь меня!

Бывало и так: выйдем после урока вместе, он останавливается возле трамвайной остановки:

— Вот идет твой девятый, садись.

Уверенная, что он проводит, я говорю, что лучше пройтись пешком. Палька не спорит: «Что ж, иди» — и поворачивает к дому, помахав на прощанье рукой. Иду, глотая подступающие слезы. Трамваи нагоняют и обгоняют меня один за другим, по я упрямо шагаю пешком. А у моего дома откуда ни возьмись уже стоит, посмеивается Палька, берет под руку и заворачивает обратно:

— Пошли, у меня билеты в кино. На восьмичасовой.

Кино, провожанье, долгое прощанье на лестнице — все чудесно. Прихожу на следующий урок — Пальки нет дома. Тяну, тяну время, делаю внеочередную диктовку, Нинка скулит... А его нет. Через день он говорит:

— Знаешь, я забыл, что ты придешь, заболтался с товарищами.

Так он меня «осаживал». Чтоб не возомнила о себе?..

Недавно, разыскивая нужную фотографию, я наткнулась на пакет, обернутый толстой бумагой. Развернула — Палькины письма. Я и не знала, что они сохранились, — столько лет прошло, столько было событий, переездов, да и в блокаду множество писем и документов сгорело в ненасытной буржуйке! Видимо, на этот пакет рука не поднялась?..

Странно было читать одно за другим эти давние письма — будто в чужую, малознакомую жизнь заглядываю тайком, будто в чужие, малопонятные души... Да так оно и есть. Человек меняется, хотя часто думает, что он все такой же. Меняясь, забывает себя прежнего, а пережитое преобразуется временем и капризами памяти. Вероятно, и у меня происходит то же самое, хотя я стараюсь быть предельно толпой. Но вот — письма. Палькины. А среди них, оказывается, и часть моих. Когда же мы успели так много написать друг другу?

Раскладываю письма по датам. Тоненькая пачка — письма с карельского фронта и на фронт. Неудержимо частые, затаенно-нежные письма пятнадцатилетней девочки и редкие короткие ответы, где равнодушие к старательной корреспондентке соединяется с интересом к петрозаводским новостям, которые она сообщает, не жалея чернил и бумаги. Еще одна тонкая пачка — письма тех лет, когда мы были вместе и лишь на короткое время разлучались: то я уехала в Севастополь на отдых, то его призвали на военный сбор... Самая толстая пачка — письма с Литейного на Разъезжую и обратно, переданные из рук в руки, оставленные на столе, засунутые в возвращаемый учебник, письма тех двух лет, когда мы жили в четырех трамвайных остановках друг от друга. Отношения были запутанны и трудны, мы ссорились и мирились, теряли друг друга навсегда и заново обретали.

Наверно, не нужно перечитывать старые письма — того и гляди занеет давно отошедшая боль или, еще хуже, начнешь усмехаться, оценивая юношеские страсти с высоты своего жизненного опыта, хоть насмешка тут — кощунство. Еще труднее ссылаться на эти письма, делать их хотя бы в кратких извлечениях достоянием сторонних людей... Но моя повесть была бы фальшива, если б я не рассказала откровенно и честно о незаурядном человеке, с которым связано шесть лет моей юности. Смерть отняла его у близких, но смерть и вернула его — эпохе. Ведь только о тех, кто ушел от нас, мы умеем судить так, как они того стоят, и только тех, кто ушел, мы видим и понимаем во взаимосвязи с эпохой, а Павел Соколов был целиком созданием своего времени, времени крутой ломки старых и начального утверждения новых устоев, представлений, идеалов.

Забудем же о том, что в данном случае мешает. Есть Он и Она — дети первых лет революции, комсомольцы первого поколения, юные влюбленные, которые были максималистски требовательны друг к другу — и все время ходили по острию разрыва. Сегодня нас интересует Он. Еще с фронта, откликаясь на дружескую критику своей корреспондентки, он пишет: «Мое личное Я переживает массу нового. Обрабатываюсь, исправляюсь». И еще: «Интересно, знаешь, оторваться от своей работы и окунуться в другую, совершенно незнакомую, особенно в военной обстановке... освежающе действует... Своей натуре удивляешься, какой ей нужен простор!» И рядом, несколькими строчками ниже: «В то же время как-то странно чувствую себя нездоровым. Отчего? А и сам не знаю».

Такое ощущение не единственное, не промелькнувшее. Читаю письма, написанные уже на Разъезжей, вчитываюсь в страницы, вырванные из дневника и однажды отосланные мне вместе со всеми моими письмами и

даже случайными записочками в знак полного разрыва...

Запись от сентября 1922 года, в как будто безоблачный период первой любви и первых студенческих впечатлений:

«Больно, тоскливо. Боль тупая, непонятная... почему она так невежливо привязалась ко мне?»

И снова, в мае 1923-го:

«Сейчас ночь. Электрическая лампочка над воротами слабо освещает двор с бегающими крысами. Я их не вижу, но знаю, что они бегают... Сегодня не первая и не последняя ночь без сна. Мысль не способна работать над книгами, формулами, законами и т. п. Она занята чем-то напряженным, неясным...»

Откуда такое у здорового юноши, отнюдь не слюнтяя, а человека энергичного, волевого, умеющего и любящего работать, бороться, действовать в полную силу? Любовные терзания? Нет. Иногда они наслаивались на другое, но не они были главной болью, да и была ли у него в тот год такая любовь, что могла жечь душу?

В горькие дни полного разрыва он записал в своем дневнике:

«Она изверилась. Ее глаза — море мук. У нее это первая любовь, первое большое чувство, а у меня оно не появлялось, его... не было. Я проспал свое счастье, оно было близко-близко, но я... не знал, что это именно мое счастье».

Однажды после очередного примирения он написал ей в письме, где любовь и тоска смешивались воедино:

«...не хотел я сперва омрачать твою радость, но ты и в этом должна понять меня: я чувствую, что не осуществится оно, наше счастье... Я чувствую ясно приближение смерти. Тоска

охватывает меня. Мне больно. Больно мне! Но *это* неумолимо... Не одну ночь я борюсь с этим неумолимым... Можешь ли ты вырвать меня из этих цепких объятий? Нет. И ты бессильна перед ним».

Она ответила немедленно:

«У тебя не должно быть никаких предчувствий, кроме предчувствия счастья. Я так хочу, я хочу вдохнуть в тебя свою веру в наше будущее. Неужели я недостаточно сильна?! Я чувствую себя сильнее всего темного, что может грозить... Мы будем жить. Мы будем счастливы».

Она бы бросилась в огонь — спасти его. Но его внутренних, духовных страданий понять не могла, не умела...

В наши дни, семидесятые годы бурного XX века, заговорили о *стрессе*, то есть о перенапряжении человека из-за чересчур стремительного потока информации, воздействия и впечатлений, и об *акселерации* молодежи. Этих понятий нет в совсем недавних изданиях энциклопедий, во всяком случае применительно к живым организмам, там можно найти только технические понятия акселерации применительно к машинам, к убыстряющимся режимам работы самолетных и автомобильных двигателей... Теперь приходится говорить о перенапряженном режиме роста и развития человека!

В те послереволюционные годы никто об этом не задумывался. Революция естественно и неудержимо притягивала к военной, организаторской, пропагандистской деятельности совсем юных людей, зачастую подростков четырнадцати — шестнадцати лет, — попробовал бы кто отстранить их от захватывающих событий! Детство сжималось и отлетало прочь. Подростки чувствовали себя и как будто даже становились *взрослыми*, во всяком случае несли совершенно взрослую нагрузку и ответственность. Были ли они, могли ли быть готовы к такому напряжению физически и духовно?..

Павел Соколов был одним из подростков, слишком рано и быстро повзрослевших. В те месяцы, к которым относятся записи в дневнике и наша мучительная переписка, за его плечами числилось шесть лет революционной, военной и организаторской деятельности. И ему еще не

было двадцати... Пожалуй, на нем особенно ярко отразились противоречия времени, скрестились разные влияния. Его сознание, покоренное коммунистическими идеалами, его грубоватая воля юноши, с детства хватившего лиха, вели его по крепко прошитой главной линии — служения революции, но вся напряженность этого служения и крутой ломки всей жизни, от общенародной до семейной, распирала его душу и прорывалась наружу необузданностью поступков, недоброй требовательностью к себе и к другим, мальчишеским властолюбием, а иногда приступами тоски и неудовлетворенности всем и вся.

Природный ум и организаторский талант рано выделили его из общего ряда сверстников, он привык главенствовать, а в Питере, в положении нищего студента с перспективой оставаться в таком же положении еще шесть или семь лет, до окончания института, он потерялся, утратил уверенность в себе... нет, точнее сказать иначе — временами на него находила неуверенность, пусть и не осознанная до конца. Его уязвляло собственное невежество, когда он путался у доски на глазах всего класса в склонениях-спряжениях или не мог решить элементарную алгебраическую задачу. И дело было не только в слабости школьных знаний, а в неравномерности его развития — ведь он свободно разбирался в вопросах политики, экономики, международных делах, о которых понятия не имеют школяры, он давно привык передавать эти знания другим и с трибуны говорил ярко, умно, его любили слушать.

Вот одна из дневниковых записей тех месяцев:

«Человек. Богданов говорит о нем как о целом мире опыта, о мире развертывающемся, не ограниченном никакими безусловными пределами. Так. А вот штрихи: часа два назад не ты ли, человек, говорил о положении целого мира, о миллионах подобных людей. Спокойно и бесстрастно делал выводы и убеждал в целой системе взглядов на разные вопросы. Ты был уверен в себе, в своем деле, чувствовал свою силу, был горд. А сейчас... Ты презираешь себя. Собою недовольный, ты чувствуешь, что ты слаб, безволен, утомлен, болен...»

На него тягостно действовала обстановка нэпа, торгашеский, спекулятивный разгул, особо заметный в большом городе. Как и многие другие люди, очарованные огромностью революционных задач и идеалов,

он с трудом удержался на крутом повороте политики, когда оказалось, что предстоит терпеливое, кропотливое, постепенное продвижение — после отступления! — и революционным борцам нужно перестраиваться на новый лад, «учиться и учиться», и, мало того, еще и «учиться торговать»!.. В то время многие вылетали на повороте, уходили из партии сами или их исключали. Сознанием Павел воспринял мудрость и неизбежность нэпа сразу, без колебаний, но душой принять не мог, внутренне топорщился, страдал от соприкосновения с наглой и шустрой, торопливо наживающейся новой буржуазией и всем тем *старым*, как будто навсегда похороненным, что выбилось на поверхность нэпманской накипью.

Он уговаривал меня пойти с ним в игорный дом, снова открывшийся на Владимирском проспекте (теперь там Театр имени Ленсовета). Я побоялась, а он пошел и проболтался в его залах до рассвета, переходя от стола к столу. Потом рассказывал подавленно:

— Как будто революции и не было. Толстосумы с набитыми бумажниками, дамы в браслетах и кольцах, руки у всех жадные, трясутся, когда ставят ставки, трясутся, подгребая выигрыши... И тут же вьются шулера, работают прямо на глазах, и проститутки караулят удачников, вцепляются... ну, как раньше!

Он был черен от обиды и отвращения — видимо, ожили недетские впечатления его детства.

И Он, и Она были — во всяком случае, хотели быть *новыми* людьми. Разгул нэповской стихии не притуплял, а обострял их требовательность: не поддадимся, будем строги к себе, чисты перед революцией и друг перед другом. Вся их переписка об этом. Любовные признания, ссоры, примирения, мечты о своем будущем — все так или иначе об этом или вокруг этого главного — какими *быть*.

Он упорно ломал свой необузданный характер.

«Нужна вся сила любви, чтобы решиться написать такое письмо, — писал он после очередной размолвки. — Что страшного? Да ничего. Просто нужно *сознаться*, что я виноват. У меня было скверное настроение... Во мне проснулся прежний Палька. Когда ты уходила, я злобно подумал о тебе — „черт с ней!“. Да, да. И вся сила воли понадобилась, чтобы пойти к тебе навстречу *первому*. Понимаешь ли ты меня, Вера? Как ни исковеркало меня; прошлое, я силой любви многое могу сделать с собой. Что там многое! — все. И когда я говорил тебе — мне

безразлично, а ты делала вид, что веришь, я чувствовал, как все это глупо, ломано, неправдиво, и все-таки повторял. Чувство раскаяния было несвойственно мне, а появилось...»

В дневнике спустя месяцы после разрыва:

«Я вел себя так, как будто мне все безразлично. Сила волн. А мне далеко не безразлично. Эх, если б таким, как теперь, я был семь месяцев назад! Как глупо устроена жизнь! Где мы, ее „цари“?! Тяжело нам с неустановившимися взглядами, неустойчивой психологией жить на свете!»

Ей было проще — полудетский возраст одаривал ее беззаботностью и неиссякающей веселостью, проявления упрямства и властности в решающие минуты еще только намекали на то, каким ее характер сложится. Он был старше и еще в детстве повидал такое, что и взрослому лучше не видеть. Натуре его была свойственна размахистость, даже разухабистость — гулять так гулять, грешить так грешить! То, что клубилось вокруг — ночная жизнь улицы, пивных, игорных домов, ресторанов с цыганами и шантанными певичками, — не только возмущало его, но и завлекало. Двадцатилетний парень, он успел привыкнуть к случайным, ни к чему не обязывающим: связям, легко завязывал их и так же легко разрывал, не задумываясь, хорошо это или плохо. Теперь, полюбив, он сопротивляется новым соблазнам, теперь это было бы изменой прямоте и чистоте человеческой, предательством: идеалов.

Он со злостью ломал свой характер и привычки, ни в чем не лгал, не приукрашивал себя, не скрывал того, что иные люди с такой бездумностью не стыдятся скрывают от любимых.

Была ли Она достойна его борьбы, его усилий к самосовершенствованию? Вероятно, нет. Настрадавшись за годы своей безрадостной любви к нему, она хотела теперь реванша, хотела царить и радоваться... Будь она старше, она помогла бы ему вернее, — впрочем, так она и поступила спустя два года.

Ее девчоночья наивность и притягивала его, и злила. Злило и то, что она росла в благополучной семье и в детстве видела только ласку и внимание, чем он был так горько обделен. В трудные дни их отношений он

гневно упрекал ее:

«Тебе не нужен (и теперь и раньше) человек, мучимый той или другой борьбой, требующий нежности, ласки, заботы. Тебе нужен (и теперь и раньше) человек, полный обожания к тебе, забот о тебе, поклонения перед тобой... Я такую роль выполнял из рук вон плохо».

«Ты не можешь измениться, ибо ты выросла в соответствующих твоему типу условиях. Я тоже. Это влечет вывод ужасный. Забыв странного человека, отнявшего у тебя невольно несколько страниц жизни, ты сможешь обрести свое счастье с другим. Прости и прощай».

А затем они встречались — то на пароходе, которым оба плыли в Петрозаводск, то в коридоре общежития, куда он пришел навестить земляка... Их бросало друг к другу, счастливых, забывших все упреки и распри, и все — в который раз! — начиналось сызнова.

Перечитывая давние письма Павла Соколова, я с удивлением и грустью чувствую, что только теперь по-настоящему поняла этого человека, хотя в течение шести лет всеми силами старалась понять его и намучалась оттого, что не понимаю, и он намучался, потому что не умел раскрыть себя. Или таков жестокий закон жизни — понимание приходит через много лет после того, как оно было необходимо?..

Еще не раз в этом повествовании я вернусь к Пальке Соколову, но, как мне кажется, именно здесь нужно сказать о нем то, что дорисует его нравственный облик. Мы с ним прожили всего два года, но после разрыва не сумели стать чужими друг другу, наоборот — встречались редко, но всегда радостно и заинтересованно, стали проще, естественней, научились делиться прожитым и продуманным и воспринимать то, что пережил и продумал каждый из нас. Может, потому, что *повзрослели?*..

Трудным человеком Павел остался — наверно, и на фронте, и в партизанском отряде он был непросто для окружающих. Но и в тридцать, и в сорок лет в нем жила напряженнейшая жажда самосовершенствования, жил недремлющий внутренний контролер, помогавший ему обуздывать себя. Не одолев учебу и уйдя на практическую работу, он так и прожил практиком, самоучкой, но учился и хватал знания всегда и везде, куда бы ни забросила судьба. Он изучал индийскую поэзию, привлекавшую его

образной философичностью и тонкостью чувств, читал древних философов и тянулся к сегодняшним, не всегда попятным ему талантам. Художники, режиссеры, актеры, бывалые люди неожиданных профессий были для него хлебом духовным, неизменным пристрастием. Его записные книжки пестрели такой многотемностью, такими разными и порой противоположными мыслями, выписками, сведениями, что, попадись они в чужие руки, читающий стал бы в тупик: кто владелец книжек, какой он профессии? То ли интеллигент высшей пробы, то ли студент-первогодок?

В жизни Соколова был период, о котором я и теперь думаю с удивлением. Поработав год или два директором ленинградского, первого в стране Театра рабочей молодежи (ТРАМа), Павел перебрался в Москву, энергичнейшими мерами разыскал по заводам и фабрикам одаренную молодежь и с помощью ЦК ВЛКСМ создал московский ТРАМ, где стал художественным руководителем и режиссером-постановщиком. Палька Соколов — режиссером? Без подготовки, без учебы или хотя бы стажировки возле талантливого мастера?!

К его чести, Павел стремился привлечь знающих и талантливых людей: пригласил руководить учебной частью ТРАМа очень известного в те годы, а главное, умного и образованного актера Ф. М. Никитина, а музыкальной частью — композитора И. Дунаевского, преподавать биомеханику — Ирму Мейерхольд, танцы и пластику — Наталью Глан; он перетянул в Москву художником театра Евгения Кибрика, который быстро оброс одаренной молодежью, что привело к созданию ИзоРАМа — студии молодых художников. Появлялись в театре Бабанова, Судаков и многие другие талантливые актеры и режиссеры, помогавшие трамвцам постигать азы актерского мастерства. Нашлись и свои авторы, некоторые из них — в первую очередь Федор Кнорре — навсегда связали свою жизнь с литературой.

В те годы я частенько бывала в Москве, и Соколов обязательно показывал мне новые постановки ТРАМа — «Зови фабком!», «Дай пять!», «Дружную горку», «Тревогу»... Спектакли были живыми, волнующими сегодняшней молодежной проблематикой, они имели шумный успех у зрителей, до отказа заполнявших неказистое, самими трамвцами оборудованное помещение. Играли ребята самозабвенно, с захватывающей искренностью, между ними и залом сразу возникал и до конца спектакля удерживался контакт, полный взаимопонимания. Особенно запомнился мне невысокий вихрастый парнишка — Коля Крючков. Стоило ему появиться на сцене, по залу перекачивались волны оживления и смеха. Актерской выучки у него было не больше, чем у других ребят, но все у него

получалось естественно, как бы само собой, каждое движение и слово дышали достоверностью.

Сегодня мы знаем довольно крепкие любительские драмстудии, даже народные театры. Можно ли назвать ТРАМы их предтечами, можно ли сказать, что их спектакли были на уровне хорошей самодеятельности? В какой-то мере да, но ответ будет лишь приблизительно верным. Трамбовцы вызывают в памяти более поздние (и более крепкие, более профессиональные) молодые театральные коллективы, такие, как «Современник» первых лет или Театр на Таганке, сплоченностью и убежденностью, поисками своего собственного репертуара, обращенного к своим собственным зрителям-единомышленникам, наконец — моральной атмосферой, готовностью отдать все силы и все время ради общего дела, поступаясь личной славой или выгодой.

Раздумывая об удивительном превращении Пальки Соколова в художественного руководителя и режиссера (казалось бы, никаких предпосылок не было!), я решила расспросить об этом людей, работавших с ним в московском ТРАМе.

Евгений Кибрик поморщился и сказал, что никаким режиссером Соколов, конечно же, не был, но поднабрался кое-каких режиссерских приемов еще в ленинградском ТРАМе, у Михаила Соколовского. А главное, был хорошим организатором и умел влиять на ребят, хотя и не без позерства.

— Сидит на репетиции, загадочно смотрит, посасывая трубку, и чаще всего останавливает актера коротким замечанием: «Не верю».

Я простила Кибрику несколько раздраженный тон. Большой мастер и труженик, он органически не выносит отсутствия профессионализма и настоящих знаний.

Федор Никитин ответил по-иному:

— Соколов был талантливым человеком вообще и был очень увлечен созданием театра, увлечены были и молодые ребята, пришедшие в театр. Вот эта увлеченность помогла Соколову создать несколько хороших спектаклей. Надо сказать, что и советоваться он умел, извлекать пользу из каждого опытного актера и из работ лучших режиссеров тех дней.

Сам Никитин работал в ТРАМе недолго, так как, отснявшись в одном фильме, сразу начинал готовиться к следующему.

— Гораздо больше и лучше вам расскажет Николай Крючков, он же с первого дня был в ТРАМе, там и определился как актер, отсюда Барнет позвал его сниматься в одном из первых звуковых фильмов, в «Окраине».

Странно, мне как-то не приходило в голову, что популярный и

заслуженный актер Николай Крючков — это и есть тот самый Колька, вихрастый трамбовский парнишка!

Созвониться с Крючковым удалось далеко не сразу: «Николая Афанасьевича нет в Москве», «Приедет через неделю», «Еще не приехал». Наконец застала, пришла в один из тихих арбатских переулков, где особняком стоит многоэтажный новый дом, поднялась наверх, в пронизанную солнцем квартирку, и почувствовала, что я тут помеха. Да и как же не помеха, если человек только-только вернулся с юга, с утомительных киносъемок под палящим солнцем, а в Москве тоже жарится, и на днях снова уезжать на съемки... Балконная дверь настежь, человек лежит на диване в самом что ни на есть домашнем одеянии, отдыхает с книгой в руках, изредка поглядывая на мелькающие кадры телепередачи, пока приглушенной до немоты, но скоро футбол — и тогда ящик заговорит, взорвется криками и гомоном болельщиков, телеглаз будет метаться по полю, поспевая за всеми перипетиями игры, — и это тоже будет отдых. А тут — писатель, да еще женщина, надо спускать ноги, с дивана, извиняться за домашний вид... Мне было стыдно, по делу есть дело.

Передо мною терпеливо сидел усталый пожилой человек с очень знакомым лицом — знакомым по десяткам фильмов, а не по давнему знакомству. От того трамбовского парнишки ничего не осталось, вместо вихров сединки да залысинки, покрупневшее лицо с волевыми складками — для ролей старого рабочего, или моряка, или бывалого солдата. И вся повадка простецкая, не актерская.

Я люблю такие встречи — без гостеванья и парадности, без обязательств на дальнейшее знакомство; можно задать свои вопросы, выслушать ответы и распрощаться, по можно и разговориться, если человек тебе любопытен и сам он не прочь поговорить; слово за слово — и вот уже возникают точки соприкосновения, постепенно проступают свойства личности, а иной раз вдруг приоткрывается и душевная глубина, куда не всякому дается доступ.

Точки соприкосновения возникли сразу, с первого моего вопроса о ТРАМе будто смыло усталость с лица, заискрились глаза, посвежел, прочистился голос. И повадка, примеченная в начале встречи, и манера говорить определились как очень знакомые, навсегда близкие — нестираемая печать комсомольского поколения двадцатых годов?.. А потом, слушая, как и что он вспоминает с таким явным удовольствием, перескакивая к сегодняшним своим делам-заботам и снова возвращаясь к прошлому, я неожиданно поняла, что в глубине-то души он и сейчас тот самый краснопресненский парнишка из рабочего барака, где он рос в одной

комнатенке с матерью и семьей младшими братишками и сестренками, где мать, оглядев теснящуюся вокруг стола ораву ребят, иной раз и всхлипнет — кормить-то нечем... Как старший мужчина в доме, пошел парнишка вслед за матерью на родную Трехгорку, получил профессию накатчика-гравера и не унывал, был так же весел, как цветастые ткани, которые выпускал, а вечером шел в фабричный клуб и делал там все, что нужно, — и спел, и спляшет, и в «живой газете» сыграет, и на гармошке, и плакат напишет... Стоило пройти слуху, что создается в Москве Театр рабочей молодежи, он одним из первых прибежал туда, где театр должен был возникнуть, но где пока ничего не было, кроме убогого помещения, похожего на сарай, нескольких ребят и Павла Соколова. Как начинали? Пилили, строгали, сколачивали, потом репетировали, потом снова строгали, сколачивали, драили полы, зачастую до ночи, и тут же валились поспать, а чуть свет вскакивали и мчались на свои фабрики и заводы на работу...

Вот этот неунывающий парнишка и остался жить в глубине души большого актера солидных лет и званий.

— Соколов? Он все и создал, и нас в актеры вывел. Очень был азартен и с первого дня заразил нас своим азартом. Весь день он проводил с нами, и спал тут же, при театре, кое-как, и работал наравне со всеми. Не чинился, но и с нас, правда, требовал работы на всю катушку... Как он режиссировал? По тому времени справлялся. Мизансцены придумывал интересно, от нас требовал достоверности, правды поведения, остроты. Мы как-то вместе всё продумывали и придумывали на репетициях — автор пьесы, Соколов, художник, актеры. Все мы были увлеченные, потому и получалось. А на спектаклях и публика вдохновляла — мы ее понимали, и она понимала нас. Когда нас решили профессионализировать, влить в другие театры, все это распалось. Часть ребят вообще ушла, а меня позвали в кино, так и стал киноактером.

Меня интересовало, какие отношения сложились у Павла с ребятами, что думает Крючков о его характере.

— Ну, как сказать... Вы, наверно, знаете, он любил иногда позировать, выделяться. Порой его как бы заносило...

— Капризничал?

— Вот-вот. Но работа шла горячая, так что капризы быстро перемалывались в деле. Резок бывал, это верно. Но и разобраться умел, где провинность, а где... — Крючков улыбнулся воспоминанию. — Случилась со мною история. В одной пьесе по ходу действия я поворачиваюсь спиной к залу, скидываю брюки и бросаюсь на кровать. И вот на спектакле только я стянул брюки, такой раздался хохот! Оказывается, я как-то прихватил

резинку и вместе с брюками стащил трусы. Накинулись на меня ребята, думали — я нарочно. Прорабатывать хотели. Соколов меня позвал, расспросил, как было. Поверил мне и проработки не допустил. Да и заботился он о нас, знал, что нам трудно, ведь ничего не получали, прямо с производства в театр... Подкармливал как мог, иногда денег сунет — в долг без отдачи. Выхлопотал несколько ставок, я одну из первых получил, ног под собой не чуял от радости. И Соколов понимал это, тоже радовался. Но вообще-то он держался сурово, был требователен, даже жестко требователен. Спуску не давал.

Уже после работы в ТРАМе, когда партийная мобилизация забросила Павла в Сибирь начальником политотдела МТС, он заново открыл для себя... людей.

Приехал он в Ленинград зимой, во время отпуска. Пришел. Сидели на ковре у топящейся печки, он помешивал кочергой жаркие угли, алые отсветы играли на его повзрослевшем лице. И вдруг он искоса метнул на меня взгляд своих быстрых, своих зеленых:

— Знаешь, что я открыл в Сибири? Людей. Как ни дико, я впервые научился заглядывать в человека, кто он и что, чем дышит, что ему нужно. Думаешь, искал подход? Может, поначалу искал, но тут — глубже. Полюбил я это занятие — вникать в человека и полюбил помогать людям. Случалось, нужна была конкретная помощь — жилье, деньги... Но я не о том, это и раньше бывало. Помогать людям жить, понимаешь? Осознавать себя, свою душу, свою силу. Я вдруг увидел, что люди лучше, чем я о них думал. И не надо приказывать и требовать — уж это я умел, даже чересчур! — а гораздо лучше все выходит, если подойдешь с душой, если поощришь словом, доверием, вниманием... Веришь, впервые в жизни — все чего мне удалось достигнуть, на что удалось поднять людей, всех без приказа, добром, по охоте. Странно, правда? В тридцать лет людей открыл.

Может, кто-то найдет его открытие наивным? Но пусть тогда вдумается, многие ли поднаторевшие в руководящих трудах работники душевно постигли то, что с такой искренностью высказал Павел как свое позднее открытие? И разве так уж редко попадают нам деятели, даже не пытающиеся разглядеть в человеке человека?..

Позолоченные буквы на холодном камне. Павел Илларионович Соколов...

Кем бы он стал для людей, если б не отдал родине и людям всего себя в короткий миг последнего боя?..

Первые часы

Студенту часы необходимы — хотя бы для того, чтобы опаздывать со смыслом и толком: если проспал первую лекцию и не поспеешь на вторую, есть смысл появиться перед началом третьей и войти в аудиторию вместе со всеми; если же идти на третью по твоему разумению не стоит, тогда важно знать, который час, чтоб заняться без промедления чем-либо более интересным.

В наши дни всеобщей радиофикации и телевидения, когда узнать точное время проще простого, часы есть почти у всех, а если у кого и нет, он охает, что вот остановились, отдал в починку или «отказали, надо купить новые»... В середине двадцатых годов не только телевидения, но и радиотрансляции не было, приходилось спрашивать «который час?» у счастливых обладателей часов, а во всем нашем общежитии часы имелись только у первой моей соседки по комнате Люды, да еще солидный дедушкин будильник стоял на тумбочке у лесников, но Шурка нарочно «забывал» завести звонок, чтобы вволю поспать, а если его заводил Лис, утром Шурка прихлопывал звонок раньше, чем тот успеет растрезвониться, так что сладко похрапывающий Лис не слышал, как будильник робко звякал, прочищая голос... Пока аккуратная Люда не выехала из общежития, я знала: если Люда уходит в институт — значит, четверть девятого, можно встать, умыться, съесть кусок хлеба с солью или с пайковым шпиком, запить полуостывшим чаем и поспеть в свой институт к девяти. Вскоре вместо Люды со мною поселилась Леля Цехановская, студентка Педагогического института, милая, веселая и очень старательная Лелька, и мы обе намучались без часов. Правда, Лелю будил отблеск из окна напротив, где кто-то зажигал свет ровно в семь, но вставать в семь было рано, она решала полчаса понежиться в постели и нередко засыпала снова, особенно если вечером допоздна гуляла со своим Мишей. Меня же и отблеск не будил, и утренняя беготня по коридору мимо наших дверей тоже, а когда я все же вскакивала, устыдившись Лельки, которая в страшной суете кое-как собиралась и, не успев поесть, убегала, кто мог сказать мне, сколько сейчас — около девяти, или уже десятый, или и того больше?

Пришлось откладывать деньги на крупную внебюджетную покупку. Магазины тогда были частные, нэпманские, цены — не подступись, меньше чем за тридцать тысяч самые простенькие часы не купишь, а откуда их взять, тридцать тысяч? Зато на толкучке, как говорили, можно

купить приличные часы тысяч за пятнадцать — двадцать (такие тогда были деньги, хотя начал утверждаться и советский червонец, который можно было получить в обмен на старые тысячи по скользящему, все время меняющемуся курсу). Стипендию я получала двадцать тысяч в месяц. Если путем жесточайшей экономии на питании откладывать по тысяче или по две да приналець на всяческие заработки... Короче говоря, постепенно я накопила восемнадцать тысяч и в воскресный день, позвав с собой для храбрости табунок студентов, отправилась на толкучку попытать счастье.

Ох, что это было, толкучка времен нэпа! Прямо на подстилках, на венских стульях, на лотках, на раскладушках — тесными рядами — выкладывала свои товары «частная торговля»: старые барыни в кружевных митенках и шляпах с перьями, пожилые мужчины гвардейской выправки в выцветших френчах со следами погон, наглые молодки в цветастых платках и высоких ботинках, черноусые красавцы зверского вида, монашки без малейших проявлений благочиния, розовощекие дяди в картузах с лакированными козырьками и застенчивые интеллигенты в пенсне, с бородкой клинышком... Продавалось все — статуэтки и люстры, цейсовские бинокли, фарфоровые ночные горшки с вензелями, бисерные сумочки, некомплектные сервизы, пуговицы и корсеты, фотоаппараты «кодак», седла и гвозди, швейные машины фирмы «Зингер», страусовые перья, комплекты «Нивы» конца прошлого века, французские духи и брюссельские кружева, старинные гобелены, погнутые детские коляски, бальные платья, расшитые стеклярусом по расплзающемуся от ветхости шелку, длинные трубки из тех, что для господ раскуривали казачки, самовары, тончайший хрусталь, поношенные ботинки, домашнего изготовления пирожные, комнатные растения в кадках, лайковые, до локтя перчатки, ведра и кастрюли, картины в золоченых рамах, примусы, фраки и даже цилиндры... Толпа завивалась воронками, проходя вдоль рядов и сквозь ряды (под визг и брань торгующих). Какие-то невзрачные личности крутились в самой гуще людской, размахивая перед носом покупателей отрезами сукна, заграничными ажурными чулками, веерами порнографических открыток... Кричали зазывалы: «А вот кому!..» Подозрительные субъекты с поднятыми воротниками, держа руку за бортом пальто, почти беззвучно, но внятно сообщали: «Есть валюта. Валюта!» Высоченный старик в меховом не по сезону треухе вскидывал над толпой связку коровьих ботал и звенел ими, сам получая удовольствие от их бойкого перезвона.

Тут же среди адского шума и толчеи инвалиды и безработные пели осипшими от перенапряжения голосами, подыгрывая себе на гармошке или

на балалайке, и вокруг них как-то умудрялись собраться в кружок слушатели: подручные певцов продавали желающим тексты песен, напечатанные подслеповатым шрифтом на узких полосках папиросной бумаги.

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Цыпленок тоже хочет жить —

с завываниями и ужимками выводил молодой еще человек в броском галстуке и лоснящемся от старости пиджаке.

В нескольких шагах от него инвалид, кособочась оттого, что припадал на костыль, так и сыпал в толпу забористые частушки; мимоходом я уловила:

...не зевай!

Нынче девушка без мужа — что без номера трамвай!

— Не зевай! — повторяли мои спутники, но имели в виду совсем другое: в толпе сновали опытные карманники и беспризорные мальчишки, выглядывая зазевавшихся простаков.

Где-то поблизости плакала женщина:

— Украли, ироды!

В другой стороне истошно кричали:

— Держи его! Держи!

Двигаясь кучно, чтоб не потеряться и чтоб не вытащили деньги, мы искали часы. Увидели часы-луковицу громадных размеров, увидели на колченогой этажерке массивные каминные часы с бронзовыми амурами... Наручных не было. Мы уже отчаялись и устали от шума и давки, когда перед нами возник симпатичнейший дядька с часами, покачивающимися на его согнутом пальце. Часы были небольшие, фирмы «Сима», на узком кожаном ремешке. Мы по очереди разглядывали их, прикладывали к уху — часы призывно тикали.

— Студенты? — ласково спросил дядька. — Повезло вам. Тороплюсь на вокзал, уступлю за двадцать тысяч.

Отказаться от такой удачи было немислимо, но у меня было всего восемнадцать. Мои спутники начали торговаться. Дядька скинул тысячу, я упрашивала скинуть еще. И вдруг подошли два новых покупателя — из

тех, с поднятыми воротниками, — они тоже прикладывали часы к уху и расхваливали их:

— Швейцарские! Чудесная фирма!

Я чуть не плакала — перехватят!

Пошарив по карманам, мои друзья кое-как наскребли около пятисот рублей, и тогда те двое отступили, дядька сам надел мне часы на руку, застегнул ремешок и сказал, что уступил только ради милой барышни...

Все общежитие сбежалось любоваться покупкой. Слушали, как часы тикают, хвалили фирму, и блестящий циферблат, и стрелки, и ремешок. Когда счастливое событие было прочувствовано до конца, все разошлись по комнатам заниматься, пора была зачетная. Я тоже уселась готовиться к завтрашнему зачету, но то и дело подносила к уху часы. Тик-так, тик-так... До чего ж они славно тикали!

И вдруг в ухо ударила тишина. Часы молчали.

Я потрясла рукой — молчат.

Дуреха, чего испугалась? Просто кончился завод!

Осторожно завела часы, послушала — молчат.

Сняла с руки, потрясла посильней — молчат.

Напротив нашего общежития, на Литейном, помещалась часовая мастерская. Туда я и помчалась с утра, забыв про зачет и про все на свете.

Пожилой мастер со стеклышком на глазу копошился в разобранных часах, орудуя пинцетом. На меня ноль внимания. Я видела лишь пугающее стеклышко и блестящую лысину.

— Простите, пожалуйста. Не можете ли вы посмотреть мои часы?

— Угу (или — могу), — пробормотал мастер, продолжая копошиться.

— Они почему-то остановились. И не заводятся.

Не глядя он протянул руку за часами, открыл одну крышку, потом вторую, посвистел немного, снял с глаза стеклышко, оглядел меня и спросил, чего я хочу и откуда взяла часы. Я ответила немного обиженно:

— Как откуда? Купила!

— И сколько же вы заплатили?

Я сказала.

— И как же вы покупаете на толкучке часы, не проверив, ходят ли они?

— Я проверяла! Они ходили.

— Они — ходили? И сколько же они у вас ходили? Минуту? Две?

— Нет, они до вечера тикали.

Он всунул в глазницу стеклышко, снова, посвистывая, рассмотрел внутренность часов и закричал через плечо в приоткрытую дверь:

— Аро-он! Шле-ма! Ми-ша! Идите сюда! Вы только посмотрите этих артистов!

Из задней комнаты прибежали еще три мастера со стеклышками. И все начали рассматривать часы, выхватывая их друг у друга, и чем-то восторгаться, и причмокивать губами, и качать головами, и хихикать.

— Д-да, это мастера!

— Вот арапы!

— Это ж надо уметь!

Понимая, что случилось нечто ужасное, я робко напомнила о себе:

— Вы можете починить?

И тут все четверо развеселились окончательно:

— Починить! Нет, вы слышите — починить! Так ведь там внутри ничего нет, девочка! Прямо-таки половины деталей нет! Это ж потрясающий штукарь делал, если они у вас тикали! Там же *нечему* тикать!

Какое-то время, забыв обо мне, они обсуждали, что именно сделал тот потрясающий штукарь. Потом им стало меня жаль, и они вчетвером популярно объяснили мне, что чем беднее человек, а тем более студентка в наше трудное время, тем дороже вещи он, то есть она должна покупать, потому что у нее нет лишних денег — кидаться ими, а дорогая вещь — это действительно *вещь*, купил — и будешь носить на здоровье, но кто же покупает на толкучке?! В магазине вы гарантированы от подобных артистов, которые ловят дурочек!..

Потом первый, с блестящей лысиной, показал мне изящные дамские часики:

— Вот, продаются по случаю, двадцать восемь тысяч, но это же часы!

Я тихонько ушла, унося свою покупку. Во дворе нашего дома размахнулась и швырнула ее за штабель дров.

Вторые часы я купила года через полтора в магазине. Они протикали у меня три десятка лет и сегодня еще лежат в ящике стола — сработались, милые, а выбросить совестно.

Такие были годы

Наше полуголодное существование скрашивалось легкомыслием и гордым пренебрежением к сытости — чем меньше было еды, тем больше смеха и песен. Труднее переносилась нехватка одежек и обуви. Как ни крепись, зимою в рваных ботинках плохо, разогреваешься бегом, но на бегу в дыры забивается снег, в помещении снег тает, сидишь с мокрыми ногами,

коченеющими от холода, да еще и стыдишься — на полу под ногами лужа... С сентября до мая носила я пальтишко, полученное по ордеру еще в Мурманске, на зиму под него приметывалась ватная стеганка, неумело сооруженная мамой, отчего пальто оттопыривалось на боках, а со временем стало застегиваться с натягом — девчонка подросла! В обиходе у меня была одна юбчонка и две фланелевые блузки — по очереди стираешь, отглаживаешь и надеваешь в институт и на вечеринку, дома и в театр; на каникулах мама сшила мне из своего старого платья черную бархатную блузочку с короткими рукавами (длинные не вышли), в черном бархате я чувствовала себя прямо-таки королевой.

Насколько помню, почти у всех наших студенток и студентов с одеждой было плохо. Мальчишки особенно страдали из-за штанов — протирались, проклятые, на самых заметных местах, так что девочки более умелые, чем я, постоянно штопали их и ставили заплатки, но вокруг на диво прочных заплаток и штопок материя почему-то расползалась еще быстрее.

Мы хохотали, вздыхали, выкраивали из чего придется новые заплатки, искали хотя бы грошовых заработков, но не жаловались и не злились. Нам не требовался учебник политграмоты, чтобы понять, откуда взялись разруха и нищета, — война, развал царской России, страшный натиск белогвардейщины и иностранных интервентов, пытавшихся задушить, задавить, стереть с лица земли новорожденную Советскую республику... все прошло на наших глазах, заполнило наше детство и юность. Мы чувствовали себя победителями — нищими, голодными, но победителями.

Все усилия советского народа измерялись тогда одной меркой — довоенным уровнем. Достичь довоенного уровня! Сообщения о каждой маленькой победе на подъеме к этому уровню печатались в газетах, под аплодисменты оглашались на собраниях — 43 процента довоенного уровня, 52 процента, 71 процент... Знали, конечно, что унаследовали от царизма страну дико отсталую, зависимую от иностранного капитала, но после семи лет потрясений даже убогий довоенный уровень выглядел желанным рубежом.

Сегодня давняя беда так основательно забылась, что и нам, видевшим ее своими глазами, уже не верится. А она была. Была! Просматриваешь статистические данные тех лет и замираешь над цифрами... Вот они, некоторые из многих, — вразброс, без особого отбора:

в 1921 году национальный доход страны составил всего 38 процентов довоенного;

в стране было около 7 миллионов беспризорных детей;

в 1923 году в руках нэповской буржуазии было до 4 тысяч мелких и средних предприятий, три четверти розничной торговли;

в деревне молодые совхозы и колхозы составляли всего 1,5 процента (полтора процента!) среди массы мелких и мельчайших крестьянских хозяйств, а рядом быстро возрождались и жирели, наживаясь на беде народной, кулаки;

неграмотных насчитывалось 76 процентов всего населения, а на прежних национальных окраинах и того больше: в Казахстане 98 процентов, в Киргизии до 99 процентов;

рабочие руки были нужны везде, но не хватало ни средств, ни сырья для восстановления промышленности — и даже в 1923 году еще числилось около миллиона безработных.

В те дни мы не знали многих цифр, но и без них видели — сытых, добротнo одетых кулаков и кулачих, продающих на рынке парное мясо, молоко и масло по немыслимым ценам; замурзанных, немывтых, в жалких отрепьях беспризорных ребят — мы и жалели их, и побаивались: уж очень они наловчились залезать в чужие карманы; Биржу труда на Петроградской, напротив сада Народного дома, большое здание с башенкой, — и днем и ночью толпились там безработные, боялись уйти (вдруг подвернется хотя бы временная работа), сидели прямо на тротуарах, а то и спали, привалясь к стене... Много, очень много заводских труб мертво глядело в небо над молчаливыми заводскими корпусами с выбитыми стеклами...

Но с каждой неделей что-то улучшалось, налаживалось, вот и червонец крепнет, и заводы начинают работать — то один, то другой, тут еще одна труба задымила, а там пока не дымит, но на закопченных стенах мелькают солнечные зайчики — стекла вставляют. Это — *восстановление*. Мы не сомневались — все будет восстановлено, а там пойдет и новое строительство, лишь бы угомонились наши враги, лишь бы не война! Что оно еще замышляет, готовит исподтишка — капиталистическое окружение?..

Так оно называлось тогда — капиталистическое окружение. Наша страна была одинока, послевоенный, растревоженный, раздираемый спорами, напуганный революцией капиталистический мир обступал ее со всех сторон и мечтал ее сокрушить — не удалось войной, так голодом, блокадой, кабальными требованиями. Наглые выходки и провокации следовали одна за другой. Мы, дети молодого мира, взирали на них с самоуверенным спокойствием — если войной не одолели, так уж теперь тем более не одолеют! Международные дела воспринимались нами почти

интимно, как наши собственные дела, Чичерина восторженно любили, хотя никогда не видели его, наслаждались тем, как наши дипломаты отбивают одну атаку за другой, используя противоречия между разными капиталистическими государствами. Генуя. Рапалло. И вот уже в Рапалло пробита первая брешь — подписан договор и установлены дипломатические отношения с Германией. И еще бреши — торговые договоры с Англией и рядом других стран: как бы ни ярились против революционной страны наиглавнейшие акулы империализма — Чемберлен, Керзон, Пуанкаре, сами капиталисты хотят торговать с загадочной Советской страной, даже торопятся, боясь, что их опередят другие.

Уркарт. Лесли Уркарт, крупный английский капиталист, один из самых яростных организаторов интервенции, советник лорда Керзона! Двадцать лет хозяйничал в Сибири — медь, цинк, серебро золото, уголь... И вот добивается у Советского правительства концессии на разработку природных богатств Сибири!.. Между прочим, там же, где были его дореволюционные владения. На что надеется? На реставрацию или только на прибыли? Во всяком случае, торгуется вовсю, выдвигает кабальные условия... А Ленин говорит: «Извините, то, что мы завоевали, мы не отдадим назад. Россия наша так велика, экономических возможностей у нас так много, и мы считаем себя вправе от вашего любезного предложения не отказываться, но мы обсудим его, как хладнокровные, деловые люди».

Очень нас занимала история с этим антисоветчиком Уркартом.

Но тут в Англии возобладали самые оголтелые реакционеры во главе с лордом Керзоном, начавшиеся было торговые отношения лопнули, Керзон прислал Советскому правительству наглейший ультиматум.

Как помнится тот майский день! От края до края заполненный народом Невский, гневные выкрики демонстрантов, гневные лозунги на самодельных плакатах — кумачовых или картонных, кто как сумел. Мы тоже идем всем институтом, размахивая самодельными плакатами, мы скандируем: «Лорду — в морду! Лорду — в морду!» — и почему-то уверены, что наши слова до Керзона дойдут. Что ж, вероятно, и дошли.

И еще помнится другая демонстрация протеста — было ли то в день, когда пришла весть об убийстве Воровского в Швейцарии? или несколькими годами позднее, когда в Варшаве на вокзале был в упор застрелен белогвардейцем советский дипломат Петр Войков? или чуть раньше, когда провокационный налет на нашу торговую организацию в Лондоне привел к новому разрыву англо-советских отношений? или еще по какому-то поводу? — в те годы провокаций хватало...

Вечерело, с пасмурного неба сыпал редкий, ленивый то ли дождик, то

ли мокрый снежок, Дворцовую площадь, заполненную демонстрантами, пронизывали беглые лучи прожекторов, все окрашивая в призрачную голубизну, мы шли комсомольской колонной прямо навстречу голубым лучам, и выкрикивали сокрушительные лозунги, и пели «Варшавянку», и дружно скандировали слова, заимствованные у Блока (или Блок заимствовал их у революции?):

Мы на го-ре всем бур-жуям
Ми-ро-вой по-жар раз-дуем!

Затем насмешливой скороговоркой, с очень звучным окончанием:

Мировой пожар горит
Буржу-а-зия ддрррожит —
А-а-ичхи!!

В задорном «а-а-пчхи» не было веселости, а было презрение к организаторам провокаций и убийств. Какие бы новые опасности ни нависали над нами, мы чувствовали свою силу, силу своей революционной страны, и шумными колоннами выходили на улицы, чтобы дать отпор лордам, панам-пилсудчикам и всякой антисоветской нечисти, и собирали деньги — копейка к копейке, рубль к рублю — на строительство самолетов «Наш ответ Чемберлену!». В капиталистическом окружении мы все же не чувствовали себя окруженными — разве рабочий класс в Англии, во Франции, в Германии не с нами? Разве всякие Черчилли и чемберлены не вынуждены считаться с мощным движением народов «Руки прочь от России!»? Разве не возникают партии коммунистов и молодежные коммунистические организации во всех странах, на всех континентах?

В первый год моей учебы, осенью 1922 года, нас взбудоражила весть о том, что конгресс Коминтерна откроется в Петрограде и несколько дней будет заседать тут, а уж потом переедет в Москву. Конгресс Коминтерна! Я бы себе не простила, если б не попыталась попасть туда хоть ненадолго, если б не сумела увидеть делегатов конгресса, людей, которые добровольно и осознанно обрекли себя на жизнь тревожную и опасную, на тюрьмы и пытки, на преследования и казни... И среди них будет Ленин, может, удастся услышать его — где и когда еще представится случай услышать или хотя бы увидеть Ленина!

— Надо пробраться!

— Надо, по как?

Вызвалась рискнуть со мною Лелька. Мы жили еще врозь, но уже выделили друг друга из общей студенческой компании; был тот неясный, трепетный период зарождения дружбы, когда два человека предчувствуют нарастающее сближение, но еще не сблизились, не узнали как следует друг друга и вот приглядываются, вслушиваются, нащупывают точки соприкосновения, доброжелательно обходят камни преткновения, день за днем бессознательно проверяют друг друга — что ты можешь и как понимаешь то, что меня волнует, хорошо ли нам вместе, возникает ли тот безмолвный контакт, без которого ни дела, ни шалости не получится. С Лелькой у нас получалось все.

— Пойдем к вечеру, днем не пробраться, — рассудила Лелька.

Конгресс заседал на Петроградской, в здании Народного дома. В ранних ноябрьских сумерках мы беспечно устремились к нему, но уже на дальних подступах оказались в густой толпе. Крепко сцепив пальцы, чтоб не потеряться, мы ввинчивались в толпу, боком проскальзывали между людьми или, согнувшись дугой, пробирались под их локтями. Где-то впереди был проход, по которому шли на конгресс делегаты и счастливцы, получившие гостевые билеты, но мы не могли туда пробиться, только видели, что люди тянут головы, становясь на цыпочки, и слышали голоса:

— Смотрите, негр!

— А вон индусы идут! Индусы! Индусы!

— Смотрите, старуха!

— Какая старуха? Это же Клара Цеткин!

— Где? Где?

— Да совсем не она, что, фотографий не видели?

— А вот французы, конечно французы, слышите, говорят!

— Да не французы, итальянцы!

В отчаянии от того, что пропускаем самое интересное, мы продирались вперед, но передние ряды сами держали строй и дисциплину, на нас несколько раз цыкнули:

— Куда лезете? А ну, девчонки, марш отсюда!

Мы подались в сторону и оказались зажатыми в кольце толпы, сдерживаемой сплошным заслоном конной милиции, а может, и не милиции, а красноармейцев-кавалеристов, мы не очень-то разбирались в формах. Сумерки тут, в стороне от входа, были гуще, но это нас и прельщало. Толпа напирала, всадники крутились на своих нервных конях и страдающими голосами уговаривали напирающих:

— Ну куда? Куда? Товарищи, поймите сознательность! Ну куда вы под копыта? То-ва-ри-щи, осадите, по-хорошему прошу! Сто-ой, говорю!

Мы прибились к группе людей, особенно рьяно пытавшихся преодолеть кавалерийский заслон, и тут Лелька дернула меня за руку — не сговариваясь мы нырнули прямо под брюхо коня, в страшноватый промежуток между двумя парами нервно пританцовывающих ног с такими внушительными копытами: ушибет — тут тебе и крышка! На миг пахнуло конским потом, кожей, сапожной ваксой от сапога, на который мы чуть не напоролась, — и мы уже на той стороне и нужно бежать, бежать, пока нас не заметили...

Бежали мы не одни, то тут, то там мелькали такие же, как мы, «прорвавшиеся». Но у главного входа шла проверка пропусков, и Лелька рванула меня прочь — в обход, где-то должны же быть еще двери!

Еще дверь мы нашли, там стоял рабочий парень с повязкой на рукаве, он преградил нам путь и довольно добродушно сказал, что без пропуска нельзя, идите домой, девчата.

— Протри глаза, — сердито сказала Лелька, — стенографистки мы, нас ждут!

— По телефону вызвали, французов стенографировать, — добавила я и, мобилизовав все свои знания, произнесла по-французски довольно длинную, хотя и бессмысленную фразу.

— Так вам же должны были пропуска... — растерянно сопротивлялся парень.

— Ты лучше покажи, где секретариат, — совсем сердито сказала Лелька, — ведь опаздываем, нас ждут, можешь ты понять? Французы!

Парень не знал, где секретариат.

— Должен знать, раз поставлен тут, — сказала Лелька, и мы прошли мимо сконфуженного парня и поторопились как можно скорее затеряться среди людей, сновавших по коридору.

В зал мы попали как-то неожиданно. Прижались к стене и постарались впечататься в нее, чтоб не привлечь внимания. Большой зал был полон, но мы видели только затылки сидящих — много-много затылков — и лишь иногда чей-то профиль, склонившийся к соседу. Очень далеко от нас, на сцене, за длинным красным столом сидело много людей — президиум. Мы напрягали зрение, стараясь хоть кого-либо разглядеть. Увидели седую женщину — может, это и есть Клара Цеткин, бесстрашная немецкая коммунистка?.. Искали знакомую фигуру Ленина, его подвижное лицо с высоким лбом, но, как ни старались, не нашли. На трибуне кто-то говорил

по-испански, говорил негромко, до нас доносились только звуки голоса, да и не понимали мы по-испански. Когда он наконец закончил речь, вышел переводчик и начал переводить на английский, а может, это был уже следующий оратор, англичанин, мы не знали. Скучно было стоять и слушать незнакомую речь. Мы усиленно разглядывали сидящих в зале делегатов, где-то далеко увидели двух темнолицых людей, возможно негров, еще увидели — издалека не разглядеть — голову в тюрбане, какие носят на Востоке, но, в общем, сидели в зале самые обычные люди, ничем не отличающиеся от наших, слушали ораторов, некоторые что-то записывали, некоторые переговаривались, трое поднялись и тихо прошли мимо нас, доставая папиросы, но папиросные коробки оказались советские, «Ява».

Ленина не было.

Рядом с нами у стены стояли еще люди — может, прорвавшиеся так же, как мы, может быть, гости или служащие? Хотелось спросить их, где Ленин, но страшно было, что они, в свою очередь, спросят, кто мы такие.

Уже говорил третий или четвертый оратор, когда в зал вошли и, не желая проходить вперед во время речи, остановились совсем близко от нас два явных иностранца — лица как лица, могли быть и русскими, но самые обычные, отнюдь не новые костюмы были все же не наши и галстуки не такие, как у нас.

Решившись, я придвинулась к одному из них и отчетливо, хотя и шепотом произнесла короткую французскую фразу:

— Камарад, у э Ленин? (Товарищ, где Ленин?)

Иностранец моего французского не понял, но уловил — Ленин. Заулыбался, зажестикнул и ответил английской фразой, из которой я поняла только «ноу» (нет) и еще «Москау» (Москва). Ленин в Москве. Они увидят и услышат Ленина в Москве. А я не увижу и не услышу...

Мы ушли разочарованными, но в общежитии оказались героинями дня: подумать только, пробрались на конгресс Коминтерна!

— А Ленина видели?

— Он же в Москве, будет выступать, когда конгресс переедет в Москву, — отвечала я так, будто это было давно известно.

— А кого видели?

— Всех видели! И Клару Цеткин, в президиуме.

— Кажется, это была она, — сказала Лелька. И кинула на меня такой пронизывающий взгляд, что я остереглась хвастать дальше. Это она умела, Лелька, — одним взглядом поставить на место.

Замечательным человечком была она, золотая подружка моих недолгих

студенческих лет! Маленькая, русоволосая, с большими серыми, с голубым отливом глазами, с кротким, но порой и непререкаемо-твердым голоском, Лелька обладала редкой и неиссякаемой добротой. В общежитии она была всем и по всяким поводам нужна, в нашу дверь постоянно стучали:

— Леленька, хоть чего-нибудь до стипендии!

Лелька притворно ворчала: «Беспутная голова, никогда у тебя не хватает!» — и обязательно чем-нибудь выручала — хлеба отрежет или отсыплет пшена.

— Лелечка, ты не дашь свои чулки на вечер? Я осторожненько...

— Свои пробегала? Каждый вечер свиданки, разве напасешься!

Но девчонка, бегавшая каждый вечер на свидания, тут же натягивала Лелины паутинки — единственные.

— Лелик, можно тебя на минуточку?

Парень выглядел несчастным, я уже догадывалась: его ветренная невеста, которая жила в общежитии на Кирочной, ушла с кем-то гулять, а то и вообще не ночевала дома.

— Горюшко ты луковое, — говорила Лелька и шла с ним в переднюю, где возле окна обычно происходили секретные разговоры.

Вернувшись после долгого объяснения, она тихонько ворчала себе под нос:

— Растяпа чертов, накрутил бы ей хвост, а то ходит-вздыхает, вот она и выкамаривается, гулена, знает, что он никуда не денется, я ему так и сказала: не ходи, пока сама не прибежит.

Поворчав, Лелька все же выполняла просьбу влюбленного — отправлялась на Кирочную и «накручивала хвост» гулене.

Миша сердился, что все кому ни вздумается эксплуатируют Лельку, но, думаю, сам очень ценил ее безотказную доброту и всегдашнее благорасположение к людям. Поклонников у Лельки не было, возле нее слишком твердо стоял Миша. Лелька была из тех девушек, которых нельзя не заметить, но если первой мыслью было: «Какая милая девушка!» — то вторая мысль наверняка возникала серьезная: «Хорошо иметь такую жену!» Она была создана для того, чтобы вить прочное гнездо, затеять с нею летучий роман вряд ли кому-нибудь приходило в голову.

Лелька выросла в небольшом городке Лодейное Поле, в учительской семье, и с детства вобрала в себя чудесные черты, отличавшие лучших представителей русской провинциальной интеллигенции, — трудолюбие и совесть, тягу к культуре, которой так не хватало вокруг, и самоотверженную готовность служить людям. Вероятно, из нее получился

бы прекрасный педагог, но жизнь судила иначе: еще студенткой Леля вышла замуж за Мишу («Понимаешь, я бы подождала до окончания института, но Мише трудно!»), затем родила ребенка, через год — двойняшек («Миша в восторге — интересно наблюдать, как они растут вместе, копируют каждое движение друг друга, он говорит: а если тройняшки, еще занятней, наверно! А я говорю: спасибо, только рожай и выхаживай сам!»)... Когда я навестила их уже после войны, Леленька и Миша были густо окружены своим подросшим потомством, и так мило выглядела моя давняя подруга в роли матери семейства — кругленькая, сидящая, бесконечно добрая, всеми своими нежно любимая и всеми своими как бы незаметно, ласково, но и твердо руководящая.

Надо сказать, что при всей кротости своего белокуро-сероглазого облика, при всей нежности звонкого голоса и мягкости характера Лелька отнюдь не была безответной тихоней, она охотно откликалась на любую озорную затею, любила посмеяться и напроказить, а язычок ее был остер и, когда нужно, беспощаден. Упорства у нее хватало — ведь именно она без колебаний потянула меня под брюхо коня, раз уж решили пробиваться!.. К моим поклонникам она относилась с насмешливой терпимостью, к Пальке Соколову благоволила, так как видела — парень любит всерьез, а уж что я влюблена без памяти, тут и догадливости не требовалось; приглядываясь к Пальке, она понимала его трудную душевную жизнь, пожалуй, лучше, чем я, сочувствовала ему, но иногда и мне: «Ох, Верушка, намучаешься с ним!» Зато мой летучий флирт с лесником Шуркой приводил ее в ярость, Шурка это понимал, трусливо избегал ее и пуще всего боялся ее насмешек. Случилось так, что к нам в общежитие кто-то привел черноглазую девушку с гитарой, она пела цыганские романсы и переглядывалась с Шуркой, а когда спела: «Я — цыганка, моя любовь страстью дышит, волнует кровь...» — Шурка прирос к ней и потом пошел провожать и недели две бегал за ней, начисто забыв обо мне. Мое самолюбие было уязвлено, хотя, в общем-то, Шурка был мне совсем не нужен. Лелька видела это (она всегда и все примечала), посмеивалась и на нравах старшей (года на четыре!) поучала меня:

— Переметнулся — и слава богу! А завтра другая сплетет: «Дышала ночь восторгом сладострастья» — он за нею начнет ухлестывать. Шаромыжник!

Забегая вперед, расскажу историю, случившуюся несколько позже, когда я поселилась с мамой, переехавшей в Питер, а Лелька с Мишей жили в общежитии на Кировской, где им выделили комнату. В то время мы встречались реже, Лелька ждала ребенка и была погружена в семейные

заботы, совершенно чуждые моему девичьему легкомыслию. Но время от времени я к молодым супругам забегала. Однажды Лелька и Миша предупредили меня, что «шаромыжник» Шурка хвастается, якобы одержал надо мною «полную победу», а потом отошел, «чтобы не быть вынужденным жениться». Мише об этом рассказали его товарищи. Лелька предлагала — пойду к нему вдвоем с Мишей и отругаю! Но ведь Шурка может отпереться или намекнуть, что Леля не знает, что было, а чего не было.

— Не нужно, я сама.

Шурка время от времени появлялся на моем горизонте и не раз напрашивался в гости. Вот я и попросила Лельку передать, что приглашаю Лису и Шурку к себе, и назначила час, когда мама уходила давать уроки, потому что мама была бы единственным свидетелем, который лишней.

Решение было скоропалительным. Если б дала себе время подумать, не посмела бы. Шурка — опытный, хитрый, оба парня старше меня лет на шесть, да и тема... ох, какая трудная тема...

Ну и волновалась же я перед назначенным часом!

Приятели пришли торжественные, при галстуках. Нужно было «брать быка за рога», стоит расслабиться — пропадешь. Я их усадила на диван, села перед ними на стул и, обращаясь больше к Лису, чем к Шурке, без вступления жестко повторила все, что мне стало известно, и точно определила качество подобного хвастовства. Пока говорила, смотрела в стенку, чтобы не сбиться, а тут глянула на Шурку... Господи! Посерел, глаза бегают, куда весь апломб подевался, мозгляк мозгляком! И как он мог нравиться мне?! Как я могла жалеть, что Палька не умеет так красиво ухаживать?! Ведь все — фальшь. Для дур вроде меня!

Мне стала противна собственная глупость, захотелось поскорее кончить трудный разговор, и я обратилась уже к Лису:

— Ты знаешь, Лис, что ничего похожего не было. Я уверена, тебе стыдно за Шурку. Поэтому скажи ему сам все что надо и скажи ребятам в общезнании, что Шурка наврал и нахвастался. Вот и все.

Затем я встала, как королева, закончившая аудиенцию. Отмела попытки Шурки объясниться и проводила их до выхода, подав руку только Лису. А когда закрыла за ними дверь, почувствовала страшную усталость, словно подняла непосильную тяжесть, и сделала то лучшее, что получается только в юности: прикорнула на диване и немедленно заснула. Вернувшаяся с уроков мама была крайне удивлена, увидев меня крепко спящей, и еле добудилась, чтобы спросить:

— Заболела?

— Ой нет, как раз наоборот! — ответила я таким счастливым голосом, что мама весь вечер подозрительно на меня посматривала и как бы невзначай выясняла, из заходил ли сегодня Палька Соколов.

Лелька пришла в восторг от моей королевской «аудиенции» и не преминула сказать Шурке при немалом количестве свидетелей:

— Ну что, шаромыжник, получил пощечину? Поделом, не ври, а то и мы с Мишей добавим.

— Последняя сцена последнего акта, — смеялась она потом.

Мы с Лелькой жили в кругу представлений, навеянных театром.

К театру мы приобщились в первый же год начавшейся дружбы, когда никаких средств для этого у нас не было, кроме ловкости и смелости. Путь во все театральные залы нам подсказала удача с проникновением на конгресс Коминтерна — уж если и туда попали!.. Принцип был ясен — без билетов. Постепенно мы превратили наши вылазки в своеобразный спорт: зайцем на трамвае до театра, зайцем в театр и зайцем же на трамвае домой. Мы так втянулись в этот вид спорта, что однажды в Мариинке, проникнув в ложу бенуара, где очень милые молодые люди не только усадили нас впереди, на лучшие места, но и набивались потом в провожатые, мы категорически отказались от симпатичных провожатых, боясь, что они захотят заплатить за трамвайные билеты.

В театры мы попадали так: проскочив в гардероб и сдав пальто, бежали на галерку, там контроль был куда снисходительней, чем у дверей в партер, которые неотлучно охраняли уцелевшие еще от времени старого, императорского театра (может, так нам представлялось?) солидные капельдинеры в ливреях с позументами, по-Лелькиному — «пантеры»; с галерки, перевесившись через борт, мы страстно изучали публику в ложах бенуара и бельэтажа — психологическая задача заключалась в том, чтобы не нарваться на нэпманов или на чопорных мещан, а угадать людей веселых, без гонора, любящих искусство; выбрав подходящую ложу и определив, под каким номером ее искать, мы шли вниз и чинно прогуливались по коридорчику вдоль лож, приучая «пантеру» к виду двух мирно беседующих девушек, бесспорно обеспеченных билетами; гуляя, мы дожидались минуты, когда «пантера» отвернется, проскальзывали в нужную ложу и скромненько просили разрешения постоять у стенки, никого не беспокоя, так как с наших мест на галерке ничего не видно. Психологическим чутьем природа нас не обделила, я не помню случая, чтобы нас прогнали.

Начали мы с Мариинского театра — ныне это Академический театр оперы и балета имени Кирова. Сперва нас повела туда любознательность,

потом я по-новому полюбила музыку, открыв для себя прелесть вокального искусства, то пиршество голосов, какое дает опера, когда выделяются, спорят, сливаются воедино и вновь вырываются на простор великолепные, заполняющие весь зал мужские и женские голоса, а затем вступает хор с его чудесным многоголосьем, таким выразительным, что за несколькими десятками поющих людей ощущаешь толпу, народ с его многоликостью и единством, и все это объединяется оркестром, именно он ведет и организует всю сложность музыкальной жизни — жизни, полной действия, любви и страданий, борьбы и решений, которая разворачивалась на сцене и через такую необычную, захватывающую форму выражения доходила до твоего стесненного волнением сердца. «Риголетто», «Аида», «Чио-Чио-Сан», «Лоэнгрин», «Риенци», «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Травиата», «Зигфрид», «Кармен», «Дон-Жуан», «Тангейзер»... Вагнер, Чайковский, Моцарт, Пуччини, Бизе, Рахманинов, Верди... Хрустальная колоратура Горской и глубокое меццо-сопрано молодой Максаковой, сочный баритон Сливинского, мощный бас Рейзена и безукоризненное искусство стареющего Ершова... Ершов уже расставался с оперной сценой и в «Лоэнгрине» (своем знаменитом «Лоэнгрине»!) прощался с публикой, которой он доставил столько радости и которая так благодарно, со слезами, с цветами провожала его... А через год он все же выступил еще раз, не устояло сердце большого артиста, и снова был «Лоэнгрин»... Мы и второй раз проникли на прощальное выступление Ершова, в публике говорили, что у него иногда срывается голос, «дает петуха» на верхних нотах, и я с таким тревожным сочувствием слушала его и так волновалась, когда его уже ослабевший голос брал верхние ноты, что у меня от напряжения заболело горло, но никаких «петухов» не было, осталась радость от встречи с чарующим талантом.

Как ни странно, ни я, ни Лелька не тянулись к балету, может, не научились понимать его язык. Балет ассоциировался у нас с императорской сценой, с придворными балетоманами в первых рядах партера, с улаждающим зрелищем для пресыщенных людей. Хорошо это или плохо, но так было. И по-настоящему я «открыла» для себя балет только несколько лет спустя, когда появился могучий Вахтанг Чабукиани и гениальная Уланова, «обыкновенная богиня», как ее называли. Впервые я увидела ее в «Жизели» — в первом акте она жила так естественно, что я даже не заметила, танцует ли она, а во втором, на кладбище, после скольжения и кружения балерин — «девичьих душ», казавшихся бесплотными, вылетела на сцену Уланова, будто и не касаясь пола, и все другие танцовщицы показались тяжелыми... Но это было уже в начале

тридцатых годов.

А в первой половине двадцатых, бегая по очереди то в одни, то в другой оперный театр, так что за два года прослушали весь их репертуар, мы с Лелей озирались и прислушивались, где и что возникает интересное, новое. В новизне революционных лет очень хотелось и новизны в театрах, а она еще только зарождалась, — сейчас странно вспоминать, что еще не заявили о себе новые, советские композиторы и драматурги, еще учился в школе Шостакович, не появилось ни одной советской оперы... Правда, была попытка использовать музыку Пуччини и по новому либретто переделать «Тоску» в оперу о парижских коммунарах, но сама идея была порочной, «Борьба за коммуны» сошла со сцены.

Мы скоро разобрались в том, что новые веяния и поиски сосредоточились не в Мариинке, а в молодом коллективе бывшего Михайловского театра, ныне Малого театра оперы и балета. До революции это был императорский французский театр, в дни революции французская труппа уехала на родину, а в помещении театра шли спектакли разных жанров — оперы, оперетты и даже драматические спектакли. Уже приобретало известность имя дирижера Самосуда, сделавшего для нового оперного коллектива и для создания нового репертуара так много, что театр стали называть «лабораторией советской оперы». В первой половине двадцатых годов его усилия еще не выявились, мы просто чувствовали, что в Михайловском как-то свежее, интересней, и бегали на все спектакли подряд, на «Майскую ночь» и на «Фауста», на «Корневильские колокола» и «Сказки Гофмана», на «Золотого петушка» и «Похищение из сераля»...

Именно в этом здании я пережила одно из самых сильных театральных впечатлений той поры.

«Эуген несчастный» Э. Толлера. Мы понятия не имели, кто такой Толлер, и пробрались на спектакль, даже не зная, что это не опера, а драма немецкого драматурга, исполняемая актерами Александринки во главе с Вивьеном и Рашевской. Поднялся занавес — и перед нами предстала жизнь, подлинная жизнь не каких-то там прошлых веков, а современная, сегодняшняя, послевоенная, с трагедией солдата, тяжело раненного в пах и вернувшегося домой к любимой и любящей молоденькой жене... Мы были потрясены страданиями этих двух несчастных, потрясены игрой Вивьена — Эугена, потрясены и самой постановкой и декорациями — тогда это было неожиданно: домик в разрезе со спальней супругов на втором этаже и уходящие в глубину тесные улочки со светящимися окнами...

После «Эугена» мы кинулись в драматические театры, не оставляя оперу, так что пришлось «театрально» чуть ли не каждый вечер. Сперва мы

повадились в Александринку (ныне Театр имени Пушкина), чтобы увидеть в других ролях Вивьена. Таких потрясающих душу современных пьес больше не встретили, но влюбились в актрису Тиме и ради нее ходили не только на все спектакли Александринки, в которых она играла, но и в Театр оперетты (жанр, с юности мною отвергаемый): она умудрялась, совмещая работу в двух театрах, выступать и «Сильве» и «Веселой вдове», да так, что я забывала о своем неприятии жанра. Когда Тиме была на сцене, я смотрела только на нее, бывает же такое, думала я, в одной женщине — все: красива, неотразимо обаятельна, пластична, чудесно поет, непринужденно танцует и при этом талантливая актриса!

И еще одну актрису мы полюбили так, что бегали смотреть на нее в самых посредственных салонных пьесах, в основном французских, которые шли в театре Сабурова или «Пассаже» (там, где теперь Театр имени Комиссаржевской). Вот некоторые названия тех пьес: «Заза», «Женщина без упрека», «Так пробуждалась любовь», «Нежность», «Школа богинь», «Наряды и женщины», «Женщина в 40 лет»... и еще «Ревность» Арцыбашева. Во всех этих пьесах главные роли играла Елена Маврикиевна Грановская. Было ей в то время далеко за сорок, она была несколько полна для ролей молоденьких женщин, тогдашняя мода на короткие юбки еще подчеркивала полноту. Девчонкам нашего возраста, склонным считать тридцатилетних старыми и насмешничать над «толстухами», Грановская в первые минуты показалась именно «старухой и толстухой», но такова была сила ее необыкновенного и своеобразного таланта, что через несколько минут первое впечатление отлетело, чтобы никогда не возвращаться, мы видели Грановскую такой, какой она хотела быть, и если она играла юную влюбленную — мы видели юную влюбленную, если она играла актрису варьете в расцвете очарования и успеха — мы видели ее именно такой... Особо чаровал ее голос — звучный, глубокий, чуткий ко всем оттенкам чувств.

К пашен чести, мы с Лелькой были восприимчивы к истинному таланту, по никогда не вливались в толпу истерических поклонниц модных теноров и героев-любовников. А при всем восхищении талантами все же умели заметить посредственность многих пьес, в которых — или вопреки которым — эти таланты покоряли зрителей. Как и большинству молодых людей первого революционного поколения, нам хотелось *своего* искусства, спектаклей если не о нас самих (до этого было еще далеко, несколько лет!), то хотя бы откликающихся на проблемы времени, на чувства сегодняшние, а не позапозавчерашние. Мы бегали в Большой драматический, новый театр, основанный Луначарским, Горьким и Александром Блоком, и

восторженно рукоплескали шиллеровским «Разбойникам» и шекспировскому «Юлию Цезарю», потому что они были насыщены бунтарским духом.

Еще одно сильное театральное впечатление тех лет — спектакль «Самое главное» в небольшом, недавно возникшем театре, называвшемся не то Театром революционной сатиры, не то «Вольной комедией». Пьеса была написана одним из популярных в те дни театральных деятелей, Евреиновым, поставил ее тоже популярный и очень работоспособный, энергичный и талантливый режиссер Николай Петров, успевавший ставить спектакль за спектаклем в двух театрах. Всего содержания этой пьесы не помню, но была там тема искренности и естественности, действующие лица уславливались, что каждый будет вести себя так, как ему хочется, без притворств и вранья. И начались неожиданные поступки, серьезные и смешные, — помню, кто-то из героев немедленно снял тесные ботинки... После «Самого главного» у нас в общежитии бытовала игра (или испытание?) — чего ты сейчас хочешь? что бы ты сейчас сделал?..

Когда возникло диковинное театральное предприятие, объявившее себя Фабрикой эксцентрического актера, мы были готовы хоть на животе вползти в заветный зал, но на первую их постановку не попали, знали только, что она называлась «трюком в трех актах „Женитьба“» и что там гоголевская комедия сочетается с клоунадой, пантомимой и еще «черт-те с чем». На вторую постановку фэксов мы попасть сумели. Называлась она «Внешторг на Эйфелевой башне», вместо режиссеров было обозначено: «Машинисты спектакля Григорий Козинцев и Леонид Трауберг»; в чем там было дело, за давностью лет забыла, но был острый треп и всяческая эксцентрика вокруг важной темы, все это казалось ново и захватывающе интересно. Но ФЭКС как театр не удержался, а «машинисты» ушли делать советский кинематограф — и вскоре появился их приключенческий фильм «Похождения Октябрины», затем еще фильмы, а затем знаменитая, до сих пор известная и любимая зрителями трилогия о Максиме...

В то беспокойное послереволюционное время по-ленински мудро и твердо осуществлялась партийная политика в искусстве: бережно сохранялась классика и все лучшее, созданное дореволюционным искусством, поддерживались старые театры и актеры старой школы, и в то же время давался широкий простор для поисков и опытов — возникали десятки театров и театриков, студий и школ, режиссерская молодежь вместе с молодежью актерской задумывала и ставила пьесы, инсценировки, «агитдействия», перелицовывала на новый лад классику, что-то ниспровергала и высмеивала, что-то утверждала... Многие такие театры и

направления (обычно начинавшие с пышного манифеста) существовали всего год-два, а то и несколько месяцев... Беды в этом не было: беспочвенное, надуманное смывалось волной жизни, а жизненное утверждалось и крепло, манифесты забывались, а талантливые находки звали к дальнейшему поиску. Во всем этом кипении была революция, строительство нового мира. «Мы наш, мы новый мир построим!» Были ошибки? Были! А где их не было? Эти были не из худших.

1923 год врезался в мою духовную жизнь двумя крупнейшими и счастливыми открытиями — я открыла для себя Мейерхольда и Маяковского.

В тот год в Москве развернулась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промысловая выставка — скромная предтеча нынешней ВДНХ. Внешкольный институт организовал студенческую экскурсию на выставку, и я впервые попала в Москву. Сама выставка помещалась там, где сейчас ЦПКО — Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, — по нынешним критериям она была довольно бедна, но тогда выглядела внушительно и поражала разнообразием: от племенных быков и первых сельскохозяйственных машин до художественных изделий из дерева и кости, до глиняной посуды и цветастых игрушек. Ночевали мы в каком-то общежитии и рано утром веселой стайкой спешили на выставку, все дотошно осматривали, попутно катались на «колесе» и на качелях, где-то там же по талонам кормились, а когда ноги отказывали, садились в круговой трамвай к открытому окну, на ветерок, вытягивали занемевшие ноги и совершали часовую поездку по всему кругу, возвращаясь к воротам выставки, благо экскурсантам представлялся бесплатный проезд в трамваях. В один из вечеров рядом с выставкой, в Нескучном саду, мы и увидели мейерхольдовскую «Землю дыбом».

Спектакль давали на открытом воздухе, в парке. Были ли там скамьи или зрители стояли — это не имело для меня значения, я согласилась бы стоять на одной ноге или висеть на суку, лишь бы увидеть то, что происходило на странной деревянной конструкции, похожей на две площадки между фермами моста, — действие шло на обеих площадках, актеры влезали на верхнюю по лесенке, напоминающей корабельный трап или обычную стремянку, а спускались на нижнюю как акробаты. Это был спектакль о революции, поставленный революционно и яростно, с выдумкой, с юмором броским, грубым, рассчитанным на большие массы людей на больших площадях, насыщенный пафосом недавней гражданской войны — и горем, затрагивающим тоже большие массы людей. Зрители валились от хохота, когда император в расшитом мундире садился на

горшок, после чего денщик, зажав нос, бегом уносил горшок с эмблемами императорской власти на боку; они бурно аплодировали, когда императора засовывали в мешок, и замирали, когда белое офицерье развязывало мешок и, опознав его величество, оказывало ему полагающиеся почести; и тут же снова раздавался неудержимый хохот, потому что выбегал повар с живым петухом под мышкой — для императорского обеда, — а петух вырывался, начинал метаться по площадке, и повар (его играл Эраст Гарин!) носился за ним, пытаясь поймать и каждый раз по-новому уморительно упуская петуха. И та же масса зрителей горестно замолкала, когда прямо на сцену — на площадку — выезжал настоящий грузовик с красным гробом и под скорбную музыку не только актеры — массы зрителей вздыхали, вытирали глаза, то тут, то там раздавались рыдания... Кто из тогдашних зрителей не терял близких и друзей в недавних боях! В герое революционных боев, лежавшем в красном гробу на грузовике, почти каждый видел кого-то своего, и горе сдавливало сердце, и слезы и рыдания рвались наружу...

Медленно уходили мы из Нескучного сада, слишком потрясенные, чтобы делиться впечатлениями. С этого часа я знала, что революционный театр уже есть, настоящее *наше* искусство уже есть, и каждый новый спектакль Мейерхольда был — для меня, и я вырывалась в Москву, пролезала сквозь кордоны милиции, когда мейерхольдовцы приезжали на гастроли, и вместе с толпами молодежи сминала контроль у входа, но ни одного спектакля не пропустила.

Никак не припомню, где я впервые увидела Маяковского — тогда ли в Москве, или в Питере, в Капелле, где потом не раз слушала его, или еще где-то. В памяти остался темный занавес в глубине какой-то сцены, на фоне этого занавеса быстро входит Маяковский, смотрит в зал строго и придирчиво — кто, мол, такие и для чего столько вас набежало? Поглядев, сиял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула — и начал читать стихи. «Мир огромив мощью голоса, иду красивый, двадцатидвухлетний»... Нет, он тогда не читал «Облако в штанах», просто он был всем обликом и повадкой похож на эти строки и на другие оттуда же: «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется...»

Я знала, конечно, стихи Маяковского и некоторые из них любила — о лошади, упавшей на Кузнецком, о скрипке, о маме и испорченном немцами вечере, ну и, конечно, «Облако в штанах». Кое-что даже помнила наизусть. Но только с того вечера, когда я услышала самого Маяковского, я поняла, как надо его читать, почувствовала строй и дух его поэзии. Маяковский знал, что читателю трудно воспринимать его стихи, рожденные для неповторимой манеры чтения и мощного голоса самого поэта, знал — и

выступал много, читал щедро: *приучал* к себе.

В том году вышла новая поэма Маяковского — «Про это». Мне повезло купить ее, тонкую книжку формата тетради, с женским большеглазым лицом на обложке и с несколькими листами фотомонтажей внутри; фотомонтажи были выразительны, необыкновенны, почти в каждом повторялась та же большеглазая женщина и фигура самого Маяковского. А поэма была про любовь. Что может быть привлекательней для семнадцатилетней? Я читала вслух и про себя, товарищам и наедине... О, эта любовь была велика, как сам Маяковский, и ревность и страдание были велики, как он сам, эта любовь противостояла мещанскому быту, пошлости и душевной тупости, она вырывалась из косности быта к каким-то вселенским масштабам...

Мы еще не успели освоить поэму, когда на поэта набросились со всех сторон, и справа, и слева. На него всегда ярились, но тут нападки были особо жестоки, собственные слова Маяковского «в этой теме и личной, и мелкой» обернули против него самого. В нападках ощущалась злоба, далекая от интересов поэзии. И была у критиков странная глухота: ведь даже нам, неискушенным юнцам, было очевидно, что вся поэма — рывок от мелкого и личного к большому и всеобщему!

Маяковского, по существу, обвиняли в том, что он *заметил* расцветшее, расползающееся при нэпе самодовольное мещанство! А кто же его может не заметить, кроме самих мещан, думала я, и как можно победить мещанство, если делать вид, что его нет? Почему они не понимают, критики, что поэт, если он настоящий поэт революции, должен и замечать, и страдать оттого, что мещанство снова расплодилось и хочет сожрать все революционное, все чистое и большое?! Он же борется с ним ради того, «чтоб всей вселенной шла любовь»!

Соблазны

Какой ясной мне представлялась жизнь еще год-два назад! Подобно солдату у Джона Рида, я знала — «есть два класса — буржуазия и пролетариат...».

Все оказалось сложней. Запутанней. Мы презирали нэповскую накипь, лихорадочный разгул торгашества и спекуляции, но они обступали наши вольные студенческие острова — общежитие и институт, вынуждали нас соприкасаться с ними, проникали к нам соблазнами. Случалось, засасывали. А люди вокруг нас — и среди нас — были совсем не

однозначны.

Институтская подружка зазвала меня к своей тетке — помочь выбрать шляпу.

— Шля-пу?!

— А что такого? Не век в платке бегать.

По дороге подружка объяснила: тетка всю жизнь проработала мастерицей у мадам Софи, владелицы одного из самых шикарных шляпных магазинов. И сейчас работает там же на ту же дореволюционную хозяйку. Мадам — жуткая эксплуататорша, платит за шляпу гроши, а продает втридорога и все в свой карман. Если много заказов, тетка на вечер берет работу домой, ну и мастерит иной раз из остатков материала шляпы для племянниц, а то и продает втихаря.

Тетка была худенькая, седенькая, усталая — сразу видно, эксплуатируемое существо. Племяннице она обрадовалась, заодно и меня приветила, усадила пить чай со сдобными сухариками. Я уже готовила агитационный монолог о том, что надо бороться с эксплуатацией; если все мастерицы, работающие на мадам Софи, объединятся и... Но тетка меня опередила — начала рассказывать, что хозяйка до революции ездила в Париж изучать последние модели и сама придумывала такие фасоны, что ее дамы и в Париже с успехом щеголяли перед французами. И сейчас, уверяла она, лучших шляп, чем у Софи, не найти, но кто их носит?! — она презрительно поморщилась — разве сейчас есть такие дамы, как прежде?!

— Самые знатные и красивые женщины Петербурга были нашими клиентками, — захлебываясь, продолжала она, — конечно, фасон мы никогда не повторяли, это уж само собой. Но однажды случился грех. Мадам придумала исключительную модель, вроде маленькой треуголки, как раз я и выполняла ее из сиреневого велюра. Для очень шикарной дамы. Правда, из полусвета, но красавица из красавиц и денег не считала — содержал ее миллионер, немец или швед, для Люси ничего не жалел. Одних шляп заказывала! — каждую неделю новую. Но сиреневую треуголку полюбила, уж очень к лицу была. Ну, прошел месяц, и мадам Софи не выдержала — повторила фасон для генеральши, да не простой генеральши — какая-то родственница царской фамилии. Дама совсем из другого круга, думали — пройдет. Конечно, и цвет, и материал другой, и отделка. И надо же было Люси поехать кататься — у нее собственный выезд был, — надела треуголку, а навстречу генеральша катит, и тоже в треуголке! Люси велит заворачивать, врывается в магазин, срывает шляпу и этой шляпой! — мадам Софи! — по щекам, по щекам, по щекам! «Ноги моей больше у вас не будет!» И верно, с месяц не приезжала, мадам ездила

прошенья просить...

В рассказе эксплуатируемой тетки всего удивительней было то, что она считала расправу миллионеровой содержанки естественной и говорила о ней с восхищением, что она благоговела перед Люси́, перед царской родственницей и другими прежними «настоящими» дамами.

Свой классово выдержанный монолог я оставила при себе. Но шляпами заинтересовалась — подружка перемерила все, какие были в работе у тетки. Одну, из черного бархата, и я примерила, не стерпела, но надела как-то не так; мастерица подошла, взъерошила мои волосы, повернула шляпу, чуть перекосила, чуть приспустила на одну бровь — и подтолкнула меня к зеркалу. В зеркале отразилось почти красивое, взрослое, совершенно незнакомое лицо. Я торопливо вернула себе обычное лицо — пусть менее красивое, но мое. Подружка осталась у тетки, а я убежала. И все вспоминала упоенный теткин рассказ. «По щекам, по щекам, по щекам!»

Водопроводчик нашего дома — по моим понятиям, элемент пролетарский — весьма неохотно поднимался в общежитие, если засорилась раковина или потекла труба, он мог все разворотить и на два дня исчезнуть, оставив нас без воды. Пробовали усюветить его — разозлился и обозвал нас голытьбой. Зато как он лебезил перед толстопузым господином, занимавшим большую квартиру в бельэтаже! А дворники? Тоже ведь не буржуи! Но если прибежишь домой после полуночи и приходится звонить в дворницкую, дежурный дворник поглядит в окошко, увидит, что студенты, и заставит помаяться у запертых ворот — знает, от нас прибыли не будет. Однажды ночью, чтоб не слышать его воркотни, я решила перелезть через ворота и уже вскарабкалась на самый верх, уже занесла ногу через чугунные прутья, когда дворник возник под аркой ворот, без стеснений обругал меня, согнал назад, на улицу, и довел до слез, прежде чем впустил. А когда звонили жильцы состоятельные, дворники бежали к воротам рысью и, ловко подхватив чаевые, кланялись и желали спокойной ночи... Буржуйские прихвостни!

Голытьбой мы, конечно, и были, но голытьбой веселой. Впрочем, и в нашей неунывающей среде случались срывы.

В общежитие часто заходила студентка Ася, доводившаяся двоюродной сестрой одному из наших мальчишек. Более чем скромно одетую, тихонькую Асю окружал романтический ореол — не только потому, что хороша собой, с глазищами редкостного зеленого цвета, но и потому, что ее отец «начинал Волховстрой», проводя изыскания под проект,

был хорошо знаком с Графтио (имя этого крупнейшего гидростроителя уже становилось легендарным), вел изыскания под строительство еще одной гидростанции — на Свири... но, заразившись тифом, умер год назад. Под влиянием отца Ася поступила в Электротехнический институт, о плане ГОЭЛРО говорила как о своем личном деле, да он и был ее личным делом, ее судьбой. Мы завидовали этой судьбе и были немного влюблены в Асю, наделяли ее самыми героическими чертами — строительница нового мира на самом нужном, наиглавнейшем участке работ! Зато ее брат называл нашу героиню Аськой, скептически пожимал плечами и как-то обронил с горечью, что, дескать, разговоры разговорами, а после смерти дяди все в доме «пошло наперекосяк», теперь он туда «не ходок», какие-то они неприспособленные, Аська — тоже, вот погодите, побывает она на практике! Ася проходила практику на Волховстрое и вернулась оттуда растерянная, на расспросы отвечала нехотя — бараки... земляные работы... сезонники из деревни... стройке конца не видно... без сапог увязнешь в грязи...

Не прошло и двух недель, как она забежала к нам необычно бойкая, взвинченная и беспечно-громким голосом сообщила, что выходит замуж.

— Асенька, поздравляем! Кто «он»?

Ася начала тем же беспечно-громким голосом: о-о, солидный человек, делец, ворочает крупными торговыми операциями... давно ухаживает, добивается... — и вдруг расплакалась.

— Ваш сосед? С пузом, с лысиной?! — охнул ее брат. — С ума сошла, Аська! Он же нэпман!

Мы обступили Асю, испуганные и удрученные, — неужели Ася действительно выйдет замуж за нэпмана?.. А она всхлипывала — и с неожиданной злобностью, с истеричной резкостью выворачивала перед нами руки, показывая заплаты на локтях, скидывала свои маленькие ноги в прохудившихся туфлях:

— Вот! Вот! Штопка на штопке! И это еще лучшее! А туфли?! Могу я в таких ходить?! Устала! Не могу! Что хотите, не могу! Жить на одну стипендию! Мама ревет, все продала, трю-у-мо вчера вынесли! Какая учеба в голову ползет?! Пусть что угодно, пусть старик, пусть нэпман, сам черт и дьявол, лишь бы... лишь бы...

Мы не поверили ей. Может, она с голоду? Собрали по комнатам все, что нашлось, накормили Асю, а пока она ела все подряд и запивала сладким чаем (даже сахару нашли!), мы ее неторопливо уговаривали — всего два курса ей осталось, два года можно перетерпеть, а губить жизнь из-за тряпок, из-за какого-то трюмо... Ася бормотала:

— Не знаю... не знаю... конечно, малодушие... я еще подумаю...

Виновато улыбалась нам. И ушла как ускользнула.

— Это все мамаша! — неистовствовал ее брат. — Всю жизнь за дядей благоденствовала, теперь за дочкой хочет!.. Все распродает, а прислугу держит, не может без прислуги, где уж барыне посуду мыть!

Ася больше не приходила. И брата не звала. Даже на свадьбу не позвала. Брат навел справки — институт она бросила. План ГОЭЛРО уже не был ее судьбой. Как мы ее презирали, отступницу!..

Той же зимой мы с Лелькой увидели Асю на Невском. В беличьей шубке и в треуголке ярко-зеленого, под цвет ее глаз, бархата (от мадам Софи?), в щегольских белых ботинках, она вышла из Елисеевского магазина, выставив перед собою руки в замшевых перчатках с расшитыми крагами и растопырив пальцы, так как почти на каждом пальце висел пакет. Мы невольно остановились, нас отделяло от Аси всего несколько шагов. Ася заметила нас, споткнулась, мгновенно отвела взгляд, низко склонила голову и почти бегом прошла мимо — вскочила в поджидавшие ее извозчицьи сани... Сани покатали прочь.

— Ох, несчастливый у нее вид, а, Леля?

— Да какое уж счастье, — сказала Лелька.

Не помню, в том ли году или в следующем вышла новая поэма Асеева «Лирическое отступление». Мы читали:

За эту вот площадь жилую,
За этот унылый уют
И мучат тебя, и целуют,
И шагу ступить не дают.

Ася, Ася, что ж ты с собой сделала?

Почти никто из студентов нашего общежития не получал существенной помощи из дому. Изредка с попутчиками прибывали посылки — немного крупы или муки, баночка топленого масла, иногда кулек сахара, чаще коробочка сахарина. Если кому-либо присылали новые брюки, или платье, или ботинки, смотреть и щупать покупку сбегались все, заставляли тут же надевать обновку, безжалостно щипали ее счастливого обладателя. А продовольственные дары съедали в тот же вечер все вместе — варили кашу или пекли лепешки, всласть чаевничали. Пировать в одиночку — кусок застрял бы в горле.

Две квартиры-мансарды нашего землячества разделяла лестничная площадка. Так вот во второй квартире жил студент, у которого водились деньги. Звали его Николай, Лелька прозвала его Сороковая Плешь, потому что его неизменно вспоминали, когда к списку тридцати девяти лысин нужна была последняя, решающая; педанты отводили лысину Николая за неполноценность, но все же под негустыми волосами у него просвечивала изрядная плешина. Николай был старшекурсником, да и по возрасту выделялся среди других ребят, первые два курса закончил до революции. Я не помню случая, чтобы он принял участие в вечерних сборищах у камелька или в нехитрых пиршествах по случаю чьей-либо посылки. Ни денег, ни посылок из дому он не получал, ребята говорили, что он в ссоре с матерью из-за отчима. Выгружать вагоны со студенческой артелью он тоже не ходил, но деньги у него бывали, одевался он добротнo, а когда временами исчезал из общежития до утра, надевал настоящий костюм-тройку, накрахмаленную рубашку и пестрый галстук.

Случалось, он заходил в нашу квартиру к однокурснику — взять или отдать учебник. Нам с Лелькой улыбался, вскользь бросал шутливые комплименты, иногда угощал конфетами. Но в глаза не смотрел. Вроде бы и смотрит на нас, а взгляд скользит мимо, или вбок, или вниз.

— Ты заметила, Лелька, он в глаза не смотрит!

— Интересно все же, откуда у него деньги? — задумчиво сказала Лелька.

Постепенно появление денег у Сороковой Плеши как-то связалось у нас с посещениями странной старухи в потертом плюшевом салопе. Старуха никогда не приходила с парадного хода, хотя во вторую квартиру был вход и с парадной; она шла двором, по черной лестнице и через нашу квартиру. Если в комнате находился кто-то из его сожителей, Николай выходил со старухой на лестницу и коротко с нею переговаривался, иногда спорил и горячился. Но чаще всего старуха приходила днем, когда он был один.

В смежной комнате (соединяющая их дверь была закрыта и даже заклеена) жили наши приятели, по беспечности растерявшие все ключи, а потому не запиравшие свою комнату совсем. Однажды вышло так, что они ушли в кино, а сразу после их ухода появилась старуха. Прошаркала мимо нас и удалилась во вторую квартиру. Распираемые любопытством, мы побежали туда же и забрались в комнату приятелей, прикинув к заклеенной двери.

Слышно было плохо, но мы уловили, что Сороковая Плешь сердится и от чего-то отказывается. Старуха уговаривала его шепотом, тоже сердитым.

— А коньяк вы не считаете? — вдруг вскрикнула она.

И опять ничего не удавалось разобрать. Затем мужской голос перебил бормотанье старухи:

— Нет! Нет! Уж очень она... Не могу.

Отчетливо прозвучал ответ:

— Хорошо. Прибавим червонец. Хотя и так немало.

Мы ничего не поняли, но чувствовали, что происходит нечто мерзкое. Такое мерзкое, что потом не смотрят людям в глаза.

Когда пришел Лелькин Миша, мы ему все пересказали, требуя объяснений. Что стало с Мишей! Он побагровел от смущения и гнева, обозвал нас глупыми девчонками, сплетницами и даже шпионками, заявил, что «после этого» разговаривать с нами не хочет.

— Мишенька, — ласково прервала его ничуть не смущенная Лелька, — мы больше не будем. Но ты все-таки объясни.

— А я откуда знаю! — закричал Миша.

Но он знал или догадывался, это было видно. И так как понимал, что мы не отвяжемся, буркнул с явной досадой:

— Экие вы! Ну... что такое проституция, знаете? Так это мужская проституция. Присылает за ним какая-то... Да откуда я знаю! Болтают ребята, а мне наплевать! Слушать не хочу! Паскудство! И как вам не стыдно? Девочки, а интересуются черт знает чем. Пристали, как...

В следующий раз, когда Сороковая Плешь попробовал угостить нас конфетами, мы отказались и убежали. Не нужны нам его конфеты.

Ребятам удавалось подзаработать на товарной станции или в порту. Нам было хуже, в грузчики мы не годились. Где-то возле порта нанимали женщин на переборку и починку мешков, работа была грязная, а платили гроши. Лелька сразу отвергла ее:

— Пыли наглотаешься и последние одежды загубишь. Овчинка не стоит выделки.

Прошел слух, что в «Вечерней Красной газете» и просто на стенах и трубах бывают частные объявления — ищут репетиторов, преподавателей языков, сиделку к больному... Мы подкарауливали мальчишек-газетчиков и ходили по улицам зигзагами, от одного белого листка к другому, но ничего подходящего не попадалось.

Повезло Сашеньке.

— Он, ребята! — кричала она, влетая в общежитие. — Вы только послушайте! «Пожилкой даме нужна чтица и компаньонка, часы вечерние, оплата по соглашению!»! Как вы думаете, что такое компаньонка?

Сашенька была первокурсницей, приехала из маленького городка на севере Онежского озера, Повенца, где после смерти родителей жила с двумя немощными тетками. Она по-провинциальному жеманничала, за что ее высмеивали, всерьез боялась машин и трамваев, так что при переходе проспекта ее вели за руку как маленькую, была восторженно-наивна, но при этом не боялась никакой черной работы и обладала достаточным запасом практического смысла. Простенькие полотняные блузки она отстирывала, крахмалила и отглаживала так, что они выглядели нарядными и своей ослепительной белизной подчеркивали деревенскую, озерную свежесть ее миловидного лица с румянцем во всю щеку.

— Объявление только-только прилепили, еще клей не просох, — говорила она, показывая разорванный листок, — я его сцарапала с трубы, может, никто и не успел записать адрес.

Все равно, рассудили мы, идти надо немедленно, чтобы никто не перехватил такую легкую и выгодную работу. В вечерние часы! — значит, можно ходить в институт, нормально учиться...

Сашенька надела самую ослепительную блузку и побежала на Морскую, где жила пожилая дама. А мы остались ждать ее и гадали, для чего компаньонка, куда будет с нею ходить (или ездить?) пожилая дама — на прогулку? в театры? в кино?

Сашенька пришла часа через три, ошеломленная счастьем. Дама без долгих разговоров наняла ее на работу и тут же заставила читать вслух. Сашенька очень старалась читать внятно и выразительно, дама одобрила. А книжка попалась такая интересная! «Женщина, которая изобрела любовь». Какого-то иностранного писателя, кажется испанца. И все про любовь, про любовь... Читали час, потом дама расспрашивала Сашеньку, кто она и откуда приехала, есть ли родители, вернется ли к тетушкам, и даже... даже спросила, есть ли у нее молодой человек. Нет? Почему? Разве девушке одной не скучно?..

— Ну а дама, кто она? — строго спросила Лелька.

Сашенька фыркнула и тут же виновато сдержала смех.

— Она немного смешная. И зовут ее как-то дико — Эмилия Леонардовна. Вроде и старая, но в ушах серьги, платье модное, короткое, даже чулки блестящие, фильдекос. Комнаты богатые, мебели полно, зеркала и везде ее портреты — в платьях до полу, и с перьями на голове, и с такой прической, как башня. Говорит, была певицей, но влюбилась в гусарского офицера, он из-за нее вышел в отставку, и они убежали за границу и там прокутили ее бриллианты.

— А потом?

— Ну, я же не могла спрашивать, — сказала Сашенька, — в первый-то день! Может, как-нибудь и расскажет.

— А платить сколько будет?

Несмотря на свою наивность, в этом Сашенька проявила практическую сметку и твердо обусловила, что оплачивать ее будут по часам, от прихода до ухода, и платить раз в неделю. Сговорились — три часа в день, с шести до девяти вечера, а если пойдут в театр или в кафе, тогда и подольше. У дамы больные ноги и что-то со зрением, ее надо вести под руку и потом провожать до дверей квартиры.

Не помню, во сколько был оценен Сашенькин час, но мы углубились в подсчеты, прикинули несколько удлинненных вечеров на театры (!) и на кафе (!!) — вышло примерно полторы стипендии. Вот уж повезло так повезло!

Возвращаясь от своей дамы, Сашенька пересказывала нам очередные главы романа про женщину, которая изобрела любовь. Чтение шло медленно, потому что Эмилия Леонардовна любила поболтать и неизменно рассказывала Сашеньке свои собственные романы — то это было в дореволюционном Петербурге, то в Париже, то в Монте-Карло, где она со своим другом, крупным помещиком, ночи напролет играла в рулетку.

— Это когда же? После гусара? — старались мы уточнить.

— Не знаю. Наверно, после.

— Бывалая дама, — определила Лелька, — ты уши-то не больно развешивай, все это буржуйский быт, понимаешь?

— Я не развешиваю, — обиделась Сашенька, — но ведь интересно!

— А когда она рассказывает, за это тоже плата идет?

— Конечно. От прихода до ухода, я и часы записываю.

— Видно, денег ей девать некуда, твоей Леонардовне.

Как бы там ни было, мы радовались Сашиной удаче и слегка завидовали ей — надо же, полторы стипендии за чтение и слушанье любовных романов!

Через несколько дней Сашенька пришла взволнованная — Леонардовна велела завтра придеться, потому что они проведут вечер в кафе «Двенадцать» с ее старыми друзьями.

Собирали Сашеньку всем миром — Лелька дала свои чудом уцелевшие паутинки, кто-то дал туфли, я — свою бархатную блузку, еще кто-то — черную юбочку. Хотели надеть на Сашеньку пальто получше, но Сашенька наотрез отказалась — пальто сдают на вешалку, не все ли равно, старое или новое.

Ушла она на этот раз к восьми, а прибежала часов в десять в пальто

нараспашку, зареванная до того, что и глаз не было видно, только на нижних веках и на щеках потеки черной краски. От нее пахло вином и потом — опрометью бежала всю дорогу. Когда Сашенька скинула пальто, вместо моей блузки на ней оказалась длинная, ниже бедер, золотистая парчовая блуза с искусственной хризантемой на плече. Забыв, что в комнату набилось полно студентов, Сашенька с отвращением сорвала с себя парчовую блузу и повалилась на кровать, по-деревенски причитая и бранясь такими словами, каких никто от нее не слышал и даже не предполагал услышать. Лелька накапала валерьянки, прикрикнула на Сашеньку, заставила выпить, накинула на ее голые плечи одеяло.

— Ну а теперь рассказывай!

Из путаного, пополам со слезами и бранью рассказа выяснилось, что Леонардовна осудила мою блузку («Милая, это не модно!») и заставила надеть парчовую, якобы ее собственную («Видишь, какая я была тоненькая!»). Красить губы Сашенька отказалась, но подчеркнуть ресницы позволила: она всегда сокрушалась по поводу своих белесых ресниц, и ей было интересно посмотреть, пойдут ли ей черные. Еще как пошли! В кафе было шикарно, играла музыка, подали икру, семгу и какой-то «жульен» в маленьких кастрюлечках, а пирожных поставили целую вазу на ножке. И вина две бутылки. Старые друзья были действительно старые, лет под пятьдесят, двое уже седые, а один очень черный, с черными глазами, на жирной руке какое-то ожерелье или цепка, он сказал, что это четки. Сидел рядом с Сашенькой и перебирал четки, накладывал ей икру и все остальное и наливал вина, уверяя, что оно совсем слабое, дамское, сладкое. И правда сладкое, но от него все перед глазами поплыло и на Сашеньку «напал смех» — что ни скажут, она смеется. Но тут вдруг черный опустил руку под стол и начал гладить ее колено, она отодвинулась и сказала: «Пожалуйста, уберите руку». Он убрал, а потом опять полез, очень нахально, она вскочила, а Леонардовна сказала, что нечего разыгрывать недотрогу, это ее друг, очень добрый и богатый человек, и надо быть покладистой, когда ее так щедро угощают. Она сразу протрезвела и заявила, что хочет уйти, все стали ее стыдить, а Леонардовна сказала, что номерок у нее, и никуда Саша уйти не может, и вообще для голодранки у нее слишком много гонору, поломалась — и хватит набивать себе цену. Тут официант принес какое-то блюдо и начал раскладывать по тарелкам, а Сашенька побежала к выходу и стала просить ради бога скорей свое пальто, гардеробщик не давал без номерка, она разревелась, и тогда он дал ей пальто и сказал: «Беги, девонька. И чего же ты пошла с этой старой сводней!» Она побежала и всю дорогу ревела в голос, так что все оборачивались, и даже проспект

перебегала, не глядя ни вправо, ни влево...

На следующий день трое самых решительных студентов, завернув в газету парчовое чудо, пошли на Морскую к старой сводне и сказали ей все, что они о ней думают, забрали мою бархатную блузку и потребовали плату за проработанные Сашенькой часы. А что же Леонардовна? Она дрожащими пальцами отсчитала деньги и плаксиво уверяла, «что девочка дура, не поняла самых невинных шуток» и подвела ее, «поставила в неловкое положение перед друзьями и гардеробщиком».

На полученные деньги Сашенька купила блестящие чулки и... баночку туши для ресниц. Вечерами, когда посторонних не было, она подкрашивала свои белесые реснички и сидела перед зеркалом — любовалась собой. Но когда она влюбилась в самого решительного из троих ребят, ходивших к Леонардовне, тот убедил ее, что в светлых ресничках ее глаза гораздо милей, и вышвырнул тушь в форточку.

В том же году случилась беда с двумя нашими девушками.

Женя и Лида были сестрами, обе пытались поступить в Театральный институт, но провалились. Женя устроилась в наш Внешкольный, а Лида в Педагогический.

Очень похожие одна на другую, высокие, светловолосые и светлоглазые, они были красивы и привлекали особой покойностью и плавностью движений, сдержанной неторопливостью речи. Тем страшнее было то, что с ними случилось.

Объявление гласило, что в меховой магазин на Невском приглашаются молодые девушки для работы продавщицами. Обеих сестер приняли. Хозяин магазина предупредил их, что покупателей бывает немного, но каждого надо принять как можно любезней и постараться что-либо продать, для этого он учил новых продавщиц накидывать на плечи меха, кутаться в палантины, примерять на себе любой самый дешевый воротник так, чтобы он выглядел изысканно. Кроме того, в обязанность продавщиц входило быть милыми хозяйками в задних комнатах магазина, куда приходят поставщики и другие деловые люди, — сервировать чай, заваривать кофе, делать бутерброды, угощать коньяком или винами. Оплата была по тому времени довольно высокая, а работа нетяжелая, за прилавком разрешалось сидеть и даже читать, но при входе покупателя нужно было немедленно встать и встретить его приветливой улыбкой.

Работать на нэпмана? Было в этом что-то царапающее самолюбие, но когда вокруг столько безработных, выбирать не приходилось.

Я рассказала об удаче сестер Пальке Соколову, он странно посмотрел на меня и промолчал, но спустя какое-то время вдруг сказал:

— Если ты посмеешь пойти по такому объявлению...

Он не закончил, но тон был угрожающий.

Мы с Лелькой сбегали поглядеть — магазин роскошный, в витрине на плечах манекена соболиный палантин. В магазине было пусто, за прилавком сидела младшая из сестер, Лида, она вскочила и заученно улыбнулась навстречу, узнала нас и почему-то, густо покраснев, вынула из-под стекла и надела на себя меховой воротник.

— Я понимаю, вам нужно что-нибудь недорогое, — громко сказала она и добавила быстрым шепотом: — Ко мне приходиться нельзя, не разрешается. — И снова громко: — Могу предложить белку или крота, они сейчас модны.

За нею в дверях появился пожилой мужчина в черном костюме, он приглядывался к покупательницам и к работе своей продавщицы.

— Я понимаю, вы зашли прицениться, — продолжала Лида, накидывая на себя то один воротник, то другой и называя цены, — не стесняйтесь, я всегда подберу вам то, что вас устроит.

— Мы зайдем на днях, когда получим деньги, — сказала Лелька и потянула меня к выходу.

Ох, несладок нэпманский хлеб, говорили мы, шагая прочь.

Он оказался горше, чем мы думали. Вскоре сестры выехали из общежития, ни с кем толком не простясь. Свои институты они оставили еще раньше.

— Так и не поняла? — сказал Палька, когда я с удивлением сообщила ему об исчезновении сестер. — Ширма! Меховой магазин — а позади нечто вроде публичного дома для избранной публики. Я уж подсказал кому надо, так ведь не подкопаешься, все шито-крыто, и сами девушки все отрицают, даже оскорбляются.

Куда делась младшая из сестер, мы так и не узнали, а Женя однажды вечером сама зашла в общежитие — «поглядеть, как вы тут живете». Она сидела, закинув ногу на ногу, чтобы разглядели ее замшевые высокие сапожки на тугой шнуровке (очень дорогие, самые дорогие сапожки!), она то скидывала с плеч, то снова накидывала черную лису с хищно оскаленной мордочкой и спокойно хвастала тем, что занимает отдельную двухкомнатную квартиру с балконом и ванной, что у нее приходящая прислуга, что летом она поедет отдыхать в Ялту.

— Ты что же... замуж вышла? — спросила наивная Сашенька.

Женя так же спокойно, с нагловатой усмешкой ответила, что нет, не вышла, но в нее сильно влюбился один меховщик, очень богатый коммерсант (она это слово произнесла с гордостью, — «коммерсант!»), он

снял ей квартиру и создал все условия, у него семья, поэтому он приходит к ней раза три в неделю на два-три часа, к тому же часто уезжает закупать меха, так что это совсем не обременительно, если учесть все, что он для нее сделал, да и человек он довольно приятный.

— А жить вот так... — Она окинула взглядом и нас и скудное убранство комнаты. — Судите как хотите, но это не для меня.

— А что с Лидой? — жестко спросила Лелька.

По лицу Жени тенью прошла боль, а может, досада. Прошла — и растаяла.

— Пока в магазине.

Поворот разговора ей не понравился. Она встала и начала натягивать новые, еще тугие перчатки. Оглядела наши хмурые лица и невесело улыбнулась:

— Конечно, если б мы попали в Театральный, все повернулось бы иначе. А так... Пока молода, надо жить.

И ушла.

В течение нескольких вечеров в общежитии бурлили споры: что значит «жить», и в чем смысл жизни вообще, и для чего нам дана молодость, и есть ли разница между Асей и Женей — обе продались, а мужу или не мужу, имеет это значение или нет? Как часто бывает в юношеских спорах, кричали все разом и во весь голос, но до конечной истины так и не dospорились, хотя, в общем-то, все осуждали и Женю, и Асю.

Лежа в постелях, мы с Лелькой вполголоса уточняли свою позицию и с тревогой вспоминали Лиду. Ну, Женя проблагоденствует с ванной и балконом, пока коммерсант не бросит ее или сам не вылетит в трубу. А Лида-то пропадет! Пойти к ней? Вмешаться? Убедить? Но как это сделать, если «все шито-крыто, и девушки все отрицают»?!

Когда Лелька засыпала, я еще некоторое время переживала и продумывала то новое, что мне открылось в эти месяцы питерской жизни. «Мы наш, мы новый мир построим!» — еще недавно представлялось, что построим быстро, в едином порыве. Оказалось — сложно, медленно и, кроме единого порыва сознательных, деятельных людей, есть всякие-разные люди, предпочитающие цепляться за старое, приспособливаться к нэповской буржуазии, пусть она не очень-то прочна и уверена в себе, но урвать возле нее хоть что-то, урвать для себя лично, урвать на сегодня, а там будь что будет...

Меня озадачило появление Жени — недавняя студентка, землячка, она пришла к нам, к своим бывшим товарищам, покрасоваться нарядами и похвастать тем, что продалась *дорого!* Было удивительно — такая перемена

за каких-нибудь пять месяцев!.. Она уже не казалась красивой. Почему? Наряды оттеняли все, что следовало оттенить, ее природная красота должна была от этого выиграть. В чьих-то глазах, вероятно, и выигрывала. А в наших — потускнела. Значит, красота — понятие относительное и восприятие красоты одухотворяется или стирается нашим отношением к человеку в целом?.. Значит, без ощущения гармонии нет настоящей красоты?..

К нам с Лелькой соблазн проник завлекательным ритмом нового, входившего в моду танца — танго́ (в то время ударение делали на последнем слоге, так пелось в самом распространенном танго «Под знойным небом Аргентины», где «Джо влюбился в Кло» и «она плясала с ним в таверне для дикой и разгульной черни дразнящее танго́»). Пришел этот танец на смену уже надоевшим уанстепу и тустепу и потряс наше воображение своей неистовостью. Нынешнее смиренное танго не имеет ничего общего с тем, что тогда танцевалось. Кавалер перегибал свою даму пополам, раскручивал ее, как волчок, перекидывал через руку и бросал на пол, — кто видел прелестный старый фильм «Петер», тот помнит танго Франчески Гааль. На студенческих вечеринках танцевать новый танец не решались, да и попросту не умели. Зато на кухне общежития!.. Бывало, готовим с Лелькой обед — пшенную похлебку с картошкой или картофельную похлебку с пшеном. Лелька запекает звонким голосом «Аргентину», я вторю плохим контральто, подхватываю Лельку — и начинается! Ради полноты воплощения друг друга не щадили, случались и синяки, а случалось — подгорала похлебка и мы, забыв испанские страсти, кидались ее спасать.

Однажды пришел дворник:

— Опять на вас жалуются, что дрова в кухне швыряете.

Мы отпирались, показывали, что и дров-то у нас — всего ничего, кидать нечего. Не могли же мы признаться, что швыряем на пол друг друга!

Дворники относились к студентам как к напастям, свалившейся на их добропорядочный дом, особенно после того, как из-за нас начали терять заработки.

Накануне рождественских праздников мы с Лелькой застigli у водосточной трубы интеллигентного старичка в пенсне, который пытался хлебным, мякишем приклеить объявление. Прочитав через его плечо, что требуется уборщица для генеральной уборки квартиры, мы тут же вызвались произвести уборку быстро и чисто.

Квартира оказалась большая, загроможденная мебелью и книгами, старичок жил вдвоем с женой, которая каталась по комнатам в кресле-

каталке и очень стеснялась своей болезни. Славные, приветливые люди. Мы старались вовсю и в два дня прямо-таки вылизали им квартиру. Наше старание было вознаграждено — старичок, видимо, похвалил нас соседке, и соседка, а за нею многие другие хозяйки звали нас для предпраздничной уборки. Платили хорошо, иногда еще и кормили, но таких славных людей, как старичок с женой, больше не попадалось. Почти все хозяйки были нэпманши или похожие на нэпманш дородные дамы в очень коротких платьях и в блестящих светлых чулках на ногах-тумбах. Они ходили за нами из комнаты в комнату, чтобы мы ничего не украли, и тыкали туда-сюда толстыми пальцами в кольцах:

— Здесь вымойте получше, моя милая. А тут вы протерли?

Кроткая Лелька вздыхала: что ты хочешь, буржуи!

Меня душил гнев: к черту такой заработок!

Но это все же была наша удача — получить столько работы сразу.

Заказы на уборку иссякали, когда нам снова подфартило: одному из нижних жильцов привезли воз дров, он еще не успел подрядить дворников, когда мы предложили свои услуги — распилить, расколоть и снести дрова на второй этаж (в то время дрова сразу несли домой, в кухню или в кладовку, боясь, что из подвала украдут). Чтобы нам не отказали, взяли мы дешево, меньше, чем брали дворники, — законы конкуренции! После этого нас начали нанимать и другие жильцы нижних этажей, мы здорово уставали, особенно от переноски дров по лестницам, но работа была приятной — на воздухе, без указующего перста, без общения с нэпманами и нэпманшами.

Теперь я понимаю, что в нижних этажах жили самые разные люди, многие, вероятно, заслуживали уважения, некоторые наверняка нанимали нас из сочувствия голодным студенткам... но тогда все сплошь казались нам буржуями, мы их презирали и даже с молодежью из этих роскошных квартир ни в какие отношения не вступали. А соблазн был...

В одной из комнат третьего этажа, глядевшей во двор, обнаружили два студента. Оба были привлекательны — один лучше другого. Весной мы слышали, как они поют в два голоса знакомые нам песни — «Шумит ночной Марсель, в притоне „Трех бродяг“», «Там, где Крюков канал» и «Быстры, как волны». Пели хорошо. По вечерам можно было наблюдать — они сидят под рыжим абажуром над учебниками, или склоняются над чертежами, или пьют из стаканов чай — а может быть, вино? Почему-то мы сразу определили, что они белоподкладочники. Правда, тужурок они не носили, но, во-первых, снимали частную комнату, во-вторых, ходили в галстуках, что считалось у нас почти что буржуазным перерождением, в-

третьих, иногда запевали по-латыни «Гаудеамус игитур» (в своем комсомольском максимализме мы почему-то забывали, что тоже иногда запеваем ее, и не замечали, что студенты, так же как мы, знают только первую строфу).

С началом весны парни превесело поглядывали на нас из открытого окна, когда мы появлялись на крыше, и пытались с нами заговаривать. Мы тоже поглядывали на них, но заигрывания решили «игнорировать». Очень-то нужно — буржуйские сынки!

Брешь была пробита кокетливой Тасей. Она умудрилась как-то познакомиться с «белоподкладочниками», и они пригласили ее в воскресенье на острова. Возник спор — соглашаться или нет? Тася уверяла:

— Простые, веселые ребята, очень даже вежливые.

Видно было, что ей страшно хочется попробовать шикарной жизни.

— Ну и пусть едет, — решила Лелька, — не съедят же они ее.

Подстегнутое воспоминанием, мое воображение разыгралось — «безлюдность низких островов», лихач, может быть, даже автомобиль...

Я так и не проболталась о нашей с Палькой упоительной поездке. Но всех девушек взволновало: на чем «белоподкладочники» повезут Тасю? А потом, после прогулки, в какое кафе или ресторан пригласят? И соглашаться ли Тасе, если в ресторан? Все та же Лелька пожалела оробевшую Тасю и решила, что днем можно. Только вина не пить и держать парней в строгости.

— Главное, номерок от пальто возьми себе, — посоветовала Сашенька, — а будут уверять, что вино сладкое, дамское, все равно не пей!

И опять мы всем общежитием собирали подругу, надели на нее все лучшее, что у кого было, только туфли Тася надела свои — недавно купленные лодочки на высоких тонких каблучках.

«Белоподкладочники» ждали ее во дворе. Украдкой, свесив головы с крыши, мы наблюдали, как они встретились с Тасей и, с двух сторон взяв ее под локотки, скрылись под аркой ворот. Не то чтобы мы завидовали Тасе — мы томились за нее тем же сладчайшим ощущением греховности...

Вернулась Тася под вечер — голодная и злая. Сломался каблук, последнюю часть пути она ковыляла, как мы говорили — «рупь с полтиной, рупь с полтиной»... Поехали они на острова трамваем, там долго гуляли и болтали, ребята всеми силами старались развлечь и рассмешить ее, но Тасе не было весело, потому что дорожки были грязные после вчерашнего дождя, Тася трепетала, не погибнут ли новые туфли, а от хождения на высоких каблучках ноги прямо-таки горели. Ни о кафе, ни о

ресторане речи не было, у одного из парней нашлась круглая коробочка ландрина, они посидели на скамейке и пососали леденцы. Обрато «белоподкладочники» предложили идти пешком, чтобы оценить красоту города. А когда у Таси на половине пути сломался каблук, выяснилось, что у ребят нет денег даже на трамвай.

— Ну и что? По крайней мере не буржуи! — сказала Лелька.

Следующими жертвами «бывших белоподкладочников» оказались мы с Лелькой.

Нам предстояло распилить, наколоть и снести на четвертый этаж целую сажень дров. Дрова были сучковатые и сырые, с такими намаешься!

Только мы взялись за пилу, как появились те двое парней:

— Давайте мы все сделаем, а вы за это выручите нас — вымойте нашу комнату. Плата за дрова будет ваша.

Так сказал один из них, а второй добавил:

— Знаете, мы не очень умеем мыть-убирать.

Сделка состоялась, хотя совесть нас мучала — слишком неравноценные работы! Готовя тряпки и ведра, мы шептались с Лелькой:

— Так не годится. Когда будем рассчитываться, отдадим им половину денег...

Парни вручили нам ключ от квартиры: первая дверь направо, да вы и сами увидите!

И мы увидели... Пол был покрыт слоем вязкой грязи, подоконники, загроможденные невымытой посудой, были черны и сальны — на них без подставок ставили кастрюли и сковороду. К столу, прикрытому пожелтевшими газетами, было противно прикоснуться. Под кроватями валялись какие-то лохмотья. Полотенца казались сшитыми из темно-серой жесткой дерюги.

А во дворе бойко и насмешливо посвистывала пила.

Растерянно оглядывая комнату — не начать ли с потолка? — мы увидели в углах черную паутину, а над засиженной мухами лампочкой тот самый рыжий абажур с налетом давней пыли на былом шелковом великолепии.

— Свињи в галстуках! — выругалась Лелька.

— Может, пошлем к черту?

— Так ведь взялись... Да и пропадут мальчишки в этакой заразе!

Было по-полуденному солнечно, когда заблестели промытые стекла и обнаружилось, что подоконники все же белые. Начало смеркаться, когда мы установили, что полотенца сшиты из мягкой белой ткани с голубыми прожилками, шелк на абажуре — нежно-лимонного цвета, а стол сработан

из светлого дерева и когда-то был полирован. При свете электричества мы несколько раз голиками драили пол, постепенно добираясь до первоначальной фактуры — узорного паркета.

Во дворе давно не слышалось ни посвиста пилы, ни тюканья топора.

— Носят, гады! — сказала Лелька. — Ну пусть только заявятся, я их мокрой тряпкой по поросычьим мордам!.. Верушка, давай еще раз промоем пол. Начисто.

Промыли начисто. Комната сияла в ожидании хозяев, но хозяева упорно не шли. Я высунулась в окно — во дворе пусто, дрова давно перетасканы и даже опилки выметены.

— Скрываются, прощельги!

— А ты еще хотела часть денег отдать! Тут приплачивать надо.

Когда мы вышли шаткой походкой вконец измученных людей, прощельг нигде не было. И денег не было — унесли. Лелька призывала на их шалопутные головы все кары земные и небесные. Лелькин Миша сказал, что завтра же набьет им морды. Мы долго отмывались, потом напились горячего чая с бубликами, принесенными Мишей, а после чая Лелька все же пошла с Мишей погулять — чего не сделаешь ради любимого человека! Я же повалилась на кровать с учебником, убедив себя, что буду заниматься до возвращения Лельки... и тут же заснула. Разбудило меня громкое шуршание — кто-то пропихивал под дверь конверт, а конверт застревал. Я последила взглядом за тем, как уголок конверта, будто живой, мечется взад-вперед, выискивая щель пошире, поднялась поглядеть, что за поклонник там старается, и услышала топот убегающих ног.

В конверт были вложены деньги и записка: «Спасибо! Не сердитесь, девушки!»

Удары гонга

Очередная невесть из-за чего возникшая ссора с Палькой кончилась полным разрывом. Палька отослал по почте все мои письма и записочки, вырвал из дневника и вложил в пакет все страницы, мне посвященные. «Прости и прощай!»

Окружающий мир застлала сумерки.

Трудно восстановить в памяти, что со мною происходило в те дни, слишком много иных чувств и ударов прошло через душу за прожитые годы, а последующий опыт и более близкие по времени, более зрелые по силе переживания так сместили масштабы, что подстерегает опасность

неправды — снисходительной усмешки, иронической легкости рассказа о давнем горе семнадцатилетней девчонки. А было у нее — отчаяние.

Я снова как бы со стороны, издали, вглядываюсь в эту знакомую мне девчонку и вижу, что она собирала все силы и всю гордость, чтобы скрыть лютое горе под видимостью обычной жизни с лекциями и зачетами, театральными вылазками, прогулками по городу и студенческими вечеринками, где нужно танцевать и веселиться, — нельзя же показывать всем и каждому, что хочется укрыться от чужих глаз и нареветься до изнеможения! У нее не было ни опыта, ни умения анализировать, она безусловно верила веселости Пальки Соколова, когда он приходил в общежитие навестить земляков. Припав к двери, сквозь громоподобный стук собственного сердца она вслушивалась в интонации его голоса — в коридоре неподалеку от ее двери Палька болтал с приятелем о всяких пустяках... А может, он все же постучит к ней? Может, захочет увидеть, спросить: «Как живешь?»... Но Палька говорил:

— Ну, я пошел.

— Да посиди у нас, сейчас ребята соберутся.

— Не могу, и так опаздываю.

— Свидание?

— Ну, свидание. Будь жив!

И он уходил. На свидание. Ах так! И она старалась делать то, что делают все девушки мира: доказывала себе и другим, что ей не менее весело, что она прекрасно может жить без заносчивого, капризного Пальки с его выкрутасами, что есть сколько угодно гораздо более внимательных и симпатичных ребят. Она целовалась в коридоре с лесником Шуркой, назначала другому свидание на Кировной, а третьему у Литейного моста и шла с четвертым, украдкой, «проверять караулы». Оставаясь одна, писала стихи, где прорывалась ее боль, но оставалась наедине с собой все реже. В те недели душевного разброда ее не интересовали ни учеба, ни книги, ни институтские комсомольские дела. Шли недели. Молодость брала свое, временами ей и впрямь нравилась ее легкомысленная, суматошная жизнь — если б только неразлучная подружка не собиралась выходить замуж за своего доброго, верного Мишу и если б не повадился неведомо зачем Палька Соколов навещать приятелей в общежитии!..

Весною произошло три события как будто бы и не крупных, но разве только эпохальные события играют роль в нашей душевной жизни! Те три случая я ощущаю до сих пор как поворотные.

За мною начал ухаживать одноглазый анархист. Вышел он из солидной профессорской семьи, учился на последнем курсе Технологического

института и носил студенческую тужурку на белой шелковой подкладке. Отсутствующий глаз прикрывала черная повязка. Впервые он появился у кого-то из наших технологов вечером, с гитарой, подпевал томным баритоном, когда мы пели, а потом, бешено сверкая единственным глазом, спел анархистский гимн «Черное знамя», где бушевало пламя пожаров, и кровавая борьба, и гудел набат призывной трубы. Он давал понять, что был завсегдаем дачи Дурново на Выборгской стороне, где в 1917 году обосновались анархисты, и что он не только из песни знает пламя пожаров и кровавую борьбу. Затем он подсел ко мне, дергая струны так, что, казалось, они вот-вот лопнут, и пригласил меня на традиционный бал в Техноложку. Прощаясь, сказал, что заранее просит у меня «последнюю мазурку».

Лелька нашла, что он фанфарон. Я же была захвачена новыми впечатлениями: одноглазый анархист! черное знамя и набат призывной трубы! традиционный бал и последняя мазурка!

Но как мне быть, если я не умею танцевать мазурку?

Никто из наших мальчишек не брался научить меня — может, не умели, а может, не хотели, зная, ради чего я хлопочу. А вечер бала приближался...

На Литейном давно примелькалась броская вывеска «Уроки бальных танцев». Урок стоил пять рублей новыми деньгами, что по нашему бюджету было громадной суммой. Признаться Лельке я не посмела, вынула пятерку из денег, откладываемых на внебюджетную покупку, и, зажав ее в кулаке, побежала к учителю танцев.

Впустила меня горничная — настоящая, старорежимная, в кружевной наколке. В пустом зале роскошной квартиры мне пришлось ждать — учитель обедал. С каждой минутой ожидания все неудержимей хотелось убежать. Но тут появился невысокий чернявый человек во фраке, небрежно спросил, что мне нужно, и крикнул в приоткрытую дверь:

— Зося, мазурку!

Вышла немолодая дама с нотами, села к роялю и немедля забарабанила мазурку. Учитель схватил мою руку и, покрикивая на меня, повлек за собою вокруг зала, покружил, снова повлек за собой... Я еще только начала понимать, что должны делать мои ноги и руки и как держаться, когда чернявый отпустил мою руку — он уже закончил урок:

— Вот и все. Барышне тут и уметь нечего, слушать ритм и подчиняться кавалеру. Желаю успеха.

Я не посмела сказать, что в объявлении говорится о часовом уроке, а прошло от силы десять минут. Пятерка уже скользнула в его карман.

Заметив мое разочарование, он оценивающе оглядел меня с головы до ног и сказал, что для закрепления я могу прийти в субботу, по субботам у него собираются ученики «на маленькие домашние балы» — совершенствоваться в танцах. В моей памяти промелькнуло воспоминание о прелестных ученических балах Наташи Ростовской у учителя танцев Иогеля, но в это время чернявый наклонился ко мне и многозначительно сказал:

— Приходите. Если повезет, заведете недурные, а может, и выгодные знакомства. — И крикнул горничной: — Паша, проводи барышню!

Никогда еще я не чувствовала себя такой униженной. Со мною обращались как с дурой, а я позволила, я не сумела и слова вымолвить на его гнусные посулы, и пятерку — так трудно заработанную пятерку! — этот наглец отобрал, даже не моргнув...

На бал в Техноложку я пошла в дурном настроении с ощущением растущего недовольства собой. В потертой бархатной блузке я выглядела жалко в толпе нарядных девушек, среди которых терялось небольшое количество таких же бедных студенток, как я. Никто меня не приглашал, и я не расставалась со своим одноглазым анархистом, а он танцевал с развязной лихостью, подпевая оркестру и прижимая меня к себе. В перерыве он повел меня в какие-то странные комнаты, увешанные коврами, с низкими светильниками, прикрытыми цветастыми платками, так что в комнатах было полутемно. Тут и там на кушетках миловались парочки.

— Что это за комнаты? — удивилась я.

— Это наши аудитории, а ковры и прочее мы привозим из дому, чтобы создать уют.

Он усадил меня на свободную кушетку, тискал мою руку и болтал о любви с первого взгляда и тяготении душ, а когда я отобрала руку и отодвинулась, начал развивать анархистскую теорию свободной любви свободных, не сдерживаемых никакими условностями людей. Я еле дождалась последней мазурки, но с мазуркой у меня ничего не получилось, все вокруг танцевали не так, как учил наглец во фраке, взяв за это пятерку. Я сбивалась с ноги и терялась, когда одноглазый отпускал меня, а когда он упал на одно колено, сверкая бешеным глазом, я кружилась вокруг него, глупо подпрыгивая и уже понимая, что выгляжу смешно и танцую отвратительно.

Провожая меня домой, одноглазый в темноте под аркой ворот грубо схватил меня за плечи и попробовал силой поцеловать, я оттолкнула его и ударила наотмашь — метила по щеке, но удар пришелся по уху.

Взбежав по лестнице на самый верх, я присела на подоконник и долго

приводила в порядок нервы и мысли. Вывод был горек — со мною не только обошлись как с душой, я и есть дура: и пятерку профукала по-дурацки, и этот пошляк со своими теориями вел себя развязно именно потому, что встретил круглую дуру!

Таков был первый удар гонга, призвавшего задуматься: что же дальше? Если б я знала, что дальше!

Пока я лишь понемногу осознавала, чего не хочу. Совсем не привлекала профессия культработника, которую мне предстояло получить во Внешкольном институте, в этой профессии было что-то расплывчатое — завклубом? организатор самодеятельности (когда сама не умею ни петь, ни плясать, ни играть на рояле и даже на гармошке)? или, того хуже, какой-нибудь инструктор культотдела? Был у нас еще библиотечный факультет, но мне претила перспектива четырех стен и множества полок, даже если на полках — несметное количество прекрасных книг. Люблю книги и читаю запоем, но разве для этого нужно работать в библиотеке? Я знала нескольких библиотекарей, очень преданных своему делу, и тянулась к их знаниям, наблюдала, как они терпеливо и заинтересованно воспитывают вкус читателей, уважала их добрый труд... но чувствовала, что это «не мое», так же как давно, в детстве, «не моей» оказалась выбранная мною астрономия. Соприкасаясь с различными профессиями, к которым готовились студенты нашего землячества, я поочередно мечтала стать геологом, путейцем, строителем, гидротехником, даже юристом, но вскоре догадывалась, что меня тянет не существо профессии, а возможность ездить по стране, набираться новых впечатлений, встречаться с разными людьми... Где же оно мое дело?..

Лелька и Миша ждали обещанной комнаты в общежитии и дружно готовились к совместной жизни. Я радовалась за них и, как умела, помогала Лельке в ее хлопотах, но в глубине души отталкивалась от подобной милой домовитости — нет, это не для меня! Даже с Палькой? Даже! Позови он меня на край света, на Камчатку или в польскую тундру — помчусь без оглядки, но *так* вить гнездо... и не сумею и не хочу. Сашенька, притихшая после истории с Леонардовной, мечтала кончить институт и вернуться в Повенец учительницей, *самостоятельным* человеком. Я больше всего ценила самостоятельность, но в устах Сашеньки слово приобретало ограниченный, обывательский смысл, против которого моя душа топорщилась. Не меньше, чем против слова *карьера*, стоявшего за жизненными планами Шурки.

— Столоначальники, коллежские асессоры, просто тайные и действительные тайные советники... кем именно вы хотите быть, Шура? —

посмеивалась я.

— По-моему, каждый человек хочет устроиться получше, — сердился Шурка.

Устроиться? Меня воротило от этого чиновничьего понятия.

Через отрицание неинтересного и чуждого рождалось предчувствие близящегося поворота от сегодняшней невнятицы к *своей* судьбе, пока еще не угаданной. Если б в те годы уже объявлялись комсомольские призывы на дальние стройки, или на целину, или в авиацию, или на баррикады классовых битв, я бы ринулась на любой призыв, торопя судьбу. Но еще не намечались пятилетки, еще не началось массовое развитие советской авиации, баррикадных боев тоже не было. А был — нэп. И тем юным людям, кто не ограничивал свой мирок личным жизнеустройством, определиться было нелегко.

Не находя своего места в сложно развивающейся жизни, затаив боль от нелепого разрыва с Палькой, я продолжала жить суетливо и бестолково в ожидании чего-то — бог весть чего...

Вскоре после злополучной истории с одноглазым анархистом политехник Алексей пригласил меня в свой институт на концерт симфонического оркестра, после которого предстоял традиционный весенний бал. Внимание Алексея мне льстило, он был очень серьезным, хорошо воспитанным молодым человеком и уже кончал институт, следовательно, думала я, мог найти девушку постарше и поумней меня. В общезжитии все мои подруги держали сторону Алексея, сердились, если я убегала от него с Шуркой или с кем-либо еще, а Сашенька в таких случаях выговаривала:

— С букетом пришел, а тебя нет, нехорошо. Это не Шурка, у него, сразу видно, серьезные намерения!

Ох, как мало занимали меня чьи бы то ни было серьезные намерения!

Когда мы добрались трамваем до Политехнического, его прекрасный актовый зал с высоченными окнами был уже полон, все первые ряды занимали преподаватели и профессора с женами, но сразу за ними были наши места. Алексей свободно здоровался с самыми почтенными профессорами, приветствовал по имени и отчеству их жен, ему отвечали как хорошо знакомому — и все с улыбкой оглядывали меня, пусть деликатно, мельком, но от этих взглядов я багрово краснела. Стараясь подавить смущение, я сказала довольно громким шепотом:

— Сколько тут плешей! А вы никогда не вспоминали больше одной-двух!

Алексей улыбнулся мне как маленькой и шепнул:

— Обязательно всех перепишем. Вместе, хорошо?

И тут же предупреждаяще дотронулся до моей руки — на сцену выходили музыканты. Были среди них совсем пожилые люди и совсем молодые, все в белых рубашках и строгих черных костюмах. Они должны были исполнить Девятую симфонию Бетховена. В программке значилось — оркестр под управлением... хор под управлением... Хотелось спросить — почему хор? Разве в симфониях участвует хор, как в опере? Я еще не приобщилась к симфонической музыке, хотя с детства привыкла к роялю и знала на слух много прекрасных фортепьянных произведений. В том числе и сонаты Бетховена — Лунную и Аппассионату, мама играла их и дома для себя, и на концертах. Но симфонию... Признаюсь, в опере, когда оркестр исполнял увертюру, я всегда с нетерпением ждала, чтобы поднялся занавес и вступили певцы, начиная действие. Не скучно ли — один оркестр? И почему нет хора, хотя он объявлен в программке? Спросить Алексея — или стыдно?.. Стыдно.

Я наблюдала за тем, как рассаживаются и настраивают инструменты скрипачи, виолончелисты и другие музыканты, чьи инструменты я знала нетвердо. В оперном театре мне всегда хотелось заглянуть в оркестровую яму и разобраться, какие звуки извлекаются из того или иного инструмента, как эти инструменты вступают, сливая свои партии в единое целое, и как умудряется дирижер управлять ими всеми, да еще и певцами и хором. Теперь, когда оркестр был весь на виду, я готовилась за всем этим проследить.

— Вы знаете, — шепнул Алексей, наклоняясь ко мне, — тема симфонии — через страдания к радости.

Я кивнула — знаю. Ребяческая спесь! — ничего я не знала.

Дирижер поднял руки и проткнул воздух палочкой. Как в детстве, когда я вся напрягалась, чтобы не пропустить первых созвучий, возникающих из прикосновений маминых пальцев к клавишам рояля и рождающих чудо музыки, я напрягалась в наивном стремлении сейчас, здесь, еще не освоившись с большим и сложным организмом оркестра, уловить это рождение и понять взаимодействие всех его голосов! Но первые же звуки заставили меня вздрогнуть от неожиданности, так они были завораживающе выразительны и сильны, все мои приготовления разом забылись, отлетели ребячество, самонадеянность, любопытство, — над всем привычным бушевала буря, вторгаясь и в мою душу, музыка забрала меня целиком, подчинила и повела в незнакомый взрослый мир человеческого страдания, надежд, борьбы, отчаяния и просветлений, желаний и крушений...

Так уж подстроила жизнь — впервые знакомиться с симфонической музыкой, слушая Девятую! Я попала в положение несведущего новичка, без всякой подготовки вознесенного на высочайшую из вершин, куда не каждый опытный альпинист сумеет совершить восхождение. И мне, как в разреженном воздухе вершин, сдавило дыхание.

Я отчетливо помню тот вечер, и безостаточную полноту восприятия, и свое ошеломление неистовостью чувств, которые несла музыка Бетховена на своих богатырских, на своих размашистых крылах. Сколько раз потом я слушала Девятую в исполнении лучших дирижеров мира, каждый раз по-новому ее постигая и переживая! С каким интересом читала все, что помогало глубже понять ее, и какой отклик в моей душе находило то, что писал о Бетховене и его Девятой симфонии Ромен Роллан, соединивший тонкий анализ музыковеда с непосредственностью восприятия страстного художника! Теперь я стараюсь все это забыть. Я ставлю на проигрыватель пластинку и слушаю симфонию *памятью*, словно впервые в жизни, — слухом, сердцем, всей тогдашней душевной сутью девочки, за один час открывшей для себя целый океан человеческих страстей.

При всей своей неискренности я ощутила в симфонии две параллельно развивающиеся и борющиеся темы, две силы — душу человека и грозную, бурную судьбу, обрушивающую на него удар за ударом, несущую страдания и утраты. Я старалась уловить в музыке, такой могучей и такой прекрасной, всплески боли, отчаяния, быть может — усталости и покорности судьбе, но сильнее всего я ощущала могучесть духа, здорового и веселого духа, все преодолевающего, способного вырваться из страданий к новой надежде, к радости жизни. Не переставая слушать, я задумалась о человеке, написавшем эту необычайную музыку, — я знала только, что он жил сто лет назад и что он с молодых лет начал терять слух, и в последние десять лет жизни не слышал совсем. Глухота — у композитора! Значит, эту последнюю симфонию он создал в своем гениальном воображении, всю ее — от первой ноты до последней — написал мысленно, напряжением слуховой памяти, не имея возможности сесть к роялю и проверить звучание им создаваемого чуда... Может ли быть судьба трагичней?!

Но музыка сама сказала мне, что она — шире, крупнее личной трагедии, что тут — вся жизнь человеческая, что можно вынести, преодолеть и более грозные удары... Что бы ни было, он, Человек, снова и снова оживает, радуется свету, солнцу, небу, прелести полей и леса, он ищет любви и верит в будущее. Иначе как бы родилась жизнерадостная, танцевальная мелодия, вырывающаяся как бы из-под обломков крушения?..

Иначе откуда бы этот *свет*, пронизывающий самую печальную третью часть симфонии, хотя в ней и боль, и жалобы, и сомнения, и сожаления... и все же свет! — И никакой покорности.

Я несколько раз прослушиваю начало последней, четвертой части, чтобы восстановить то, прежнее восприятие и найти место, где я непроизвольно сказала вслух:

— Жив курилка!

Алексей удивленно покосился на меня и легонько сжал мою руку. Может быть, не расслышал или подумал, что я ничего не понимаю в симфонии и скучаю. А для меня это было *открытие* — курилка не курилка, но самый земной, кряжистый, даже мужиковатый человек с такой силищей неунывающего духа, что его не согнуть и не сломить, он идет навстречу буре и после самых тяжких ударов судьбы становится еще сильнее.

— И я хочу так!

Оглушенная собственным странным желанием и в этот миг прозрения убежденная в том, что меня ждет судьба трудная, необычная, насыщенная страданием и борьбой, что спокойствия не будет — да я и не хочу спокойствия! — я как-то забыла о том, что в короткой паузе перед последней частью симфонии на сцену тихо проследовал и выстроился за оркестром хор и вышли вперед с нотами в руках объявленные в программке солисты. Забыла ждать их вступления — и потому так потряс меня раскат низкого мужского голоса, в полной тишине воззавшего: «О-о-о, братья, довольно печали!.. Будем гимны петь безбрежному веселью и светлой, светлой радости!» Хор поддержал: «Радость! Радость!» — и это было только начало...

До тех пор я не слыхала ничего подобного. В опере самые чудесные хоры сопровождались действием, событиями, это отвлекало от чистого звучания множества голосов в их сложном переплетении. Но в финальном хоре Девятой меня поразили тогда не только мощь, красота, страстность этого гимна победившего духа, ворвавшегося в симфонию, чтобы до конца утвердить ее глубинный смысл. Меня поразила современность гимна, будто не сто лет назад, а сегодня кто-то молодой и революционный напоминал страждущим людям: «Все мы друзья и братья!» — звал их на бой за братство и свободу: «Встанем вместе, миллионы!..»

Вероятно, кому-нибудь покажется преувеличением, но когда все кончилось и надо было встать и выйти, чтобы зал освободили от стульев, я поднялась, чувствуя себя старше на опыт целой человеческой жизни. И мне было трудно вернуться издалека, из взрослого мучительного и прекрасного

мира, в простую реальность, где я была девчонкой в ветшающей бархатной блузке и неказистых туфельках, которые мы с Лелькой усердно покрыли черным лаком ради бала, и рядом со мною был поклонник, старательно знакомивший меня со своими приятелями и учителями, и нужно было улыбаться и что-то отвечать на нелепые вопросы «как вам понравилось?», как будто об услышанном можно было говорить обыденными словами!

Один из профессоров, уже седенький, вдруг пригласил меня на первый вальс и заговорщицки сказал Алексею:

— Умыкаю вашу невесту. Потерпите, один тур — и я исчезну.

Алексей почему-то порозовел от удовольствия и позволил умыкнуть меня, я же пропустила мимо неожиданное слово «невеста» — старичок, вот и говорит ветхозаветным языком. Старичок провальсировал со мною один круг, успел сказать, что Алеша — весьма достойный молодой человек, старомодно раскланялся и передал меня Алексею. Постепенно я вернулась в простую реальность, с увлечением танцевала все танцы подряд, даже мазурка у меня как-то сама собою получилась, и была не прочь покетничать со студентами, приглашавшими меня, и подшучивала над Алексеем, который держался почему-то торжественно и в перерывах между танцами вел меня под руку, как принцессу. Для последнего вальса потушили свет — в высоченные окна бессонными очами заглядывала белая ночь, пары медленно кружились в ее туманном свете, Алексей молчал и сверху вниз смотрел мне в лицо вопросительно и нежно.

Трамваи уже — или еще — не ходили. Мы вышли в долгий-долгий путь пешком. За заборами деревянных домишек, которых было тогда множество, всюду цвела сирень, ее пряный запах сопровождал нас, то слабей, то усиливаясь. Мне захотелось нарвать сирени, особенно пышно, прямо-таки огнем пылавшей за одним из заборов. Алексей посадил меня на плечо, я без зазрения совести наломала лучших веток и скомандовала спуск. Алексей опустил меня на землю и повернул к себе, крепко удерживая меня за локти, так как мои руки были заняты охапкой сирени. Зачинающаяся утренняя заря освещала его красивое лицо с появившимся выражением торжественной решимости. И слова он произнес такие торжественные, что от удивления я их не сразу поняла:

— Я хочу просить вас быть моей женой.

Год назад мы с Палькой решали, что поженимся через шесть лет, когда кончим учиться, но это решение возникло естественно — из нашей любви, из совместного обдумывания жизненных планов. То, что сказал сейчас Алексей, было самым настоящим и первым в моей жизни «предложением» — ну точно как в романах прошлого века. Я была взволнована и испугана.

Что отвечают в подобных случаях, чтобы не обидеть и не согласиться? Проще всего убежать, но как убежишь, когда он держит тебя за локти и когда до дому километров шесть, а трамваи не ходят!

— Ну какая из меня жена, — ответила я и осторожно высвободила локти. — Лис говорит, что я еще мелюзга. И учиться мне еще пять лет!

Считая, что ответ дан, я укрылась сиренью — как она пахла и какие лучистые капельки росы удерживались на ее листьях! — и первую зашагала дальше. Алексей догнал меня, взял под локоть и все тем же торжественным тоном сказал, что будет ждать, пока мне исполнится восемнадцать, а что он старше — это хорошо, он сумеет создать для меня все условия, любое мое желание сможет удовлетворить, я никогда не узнаю нужды, трудностей и огорчений...

Боже мой, «все условия»! Никаких «трудностей и огорчений»!

Самые грозные аккорды загудели, застонали в моей памяти. Вырываясь из них — нет, из-под них, как из-под обломков крушения, — возникла та будоражащая, неистребимо жизнерадостная мелодия... и снова сверкнул — как не вполне понятное мне самой предчувствие — миг осознания своей судьбы. С почти недоступной горной высоты Алексей заманивал меня на тихий, уютно обставленный пятак... Если б я умела высказать ему, чем стал для меня концерт, на который он сам меня привел, что открыла мне музыка Бетховена — в жизни и в себе самой! Но сегодняшнее откровение жило лишь в ощущениях, не выраженное словами, да и не могла я осознать его и выразить ни по возрасту, ни по разумению, оно трепетало в самой глубине души, а слова подвертывались обыденные, девчоночьи, и только при помощи обыденных слов и природного лукавства я могла ответить Алексею.

Пошучивая, я говорила, что из меня получились бы невыносимая жена, своенравная и упрямая, что такой жены и не увидишь — или сидит, уткнувшись в книгу, или бежит по всяким комсомольским делам.

Алексей не придавал значения моей болтовне, вероятно, счел ее девичьим кокетством, перед тем как ответить *да*, он слушал меня с добродушной улыбкой, а потом сказал, будто спрашивая, но, в сущности, уточняя что-то само собою разумеющееся:

— Но когда вы выйдете замуж, вы же оставите комсомол и все прочее?

Вопрос прямо-таки хлестнул меня. В милейшей форме мне предлагалось *отречение* — да, да, отречение! — и не под угрозой смерти, не под пытками, как комсомолке Айно из карельского села Тихтозеро, замученной белобандитами за отказ отречься от своих убеждений... нет, ради «всех условий», ради мещанского благополучия без трудностей и

огорчений!..

— Никогда. Понимаете, ни-ког-да! И замуж за вас не выйду! — Увидев его несчастное лицо, поспешно добавила: — И вообще замуж не выйду! Ни за кого!

Мне было жаль Алексея, он не был ни в чем виноват, он просто не понимал, я злилась на себя и только на себя: что же я за человек и как живу, если можно надеяться, что я *отрекись!*

Так на полпути между Политехническим институтом и Литейным мостом раздался второй удар гонга.

А третий был связан с сущим пустяком — с прозрачной соломкой для шляп.

У меня не было особых притязаний по части нарядов, но одно суетное желание удерживалось еще с Петрозаводска, с той весны, когда моя воображаемая соперница Аня появилась в широкополой шляпе из прозрачной соломки, — мне казалось, что шляпа делает ее неотразимой и если я обзаведусь такою, стану неотразима тоже. Прозрачная, поблескивающая соломка была, как я вспоминаю, и не соломка вовсе, а тесьма шириною с палец, но так уж ее называли. Девушки мастерили из нее шляпы — поля покачивались и просвечивали, отбрасывая на лицо таинственные блики.

На мою беду, и в Питере я увидела девушек в таких же шляпах, а в одном из магазинов Гостиного двора — рулон прозрачной серебристой соломки. Стоила она не так уж дорого, но у меня и того не было. Пришлось откладывать деньги тайком от Лельки, потому что Лелька осудила бы и высмеяла мое желание. Скопив нужную сумму, я побежала в Гостиный двор.

Построенный два века назад, Гостиный двор известен теперь ленинградцам и приезжим как один из главных торговых центров города. Глядит он фасадами на четыре улицы, с любой из них попадаешь в анфиладу торговых залов и можешь, переходя из одного в другой, сделать полный оборот длиною в километр, вернувшись к исходной точке; поднимешься по одной из пологих лестниц на второй этаж — и снова анфилады залов, откуда можно выйти на крытую галерею — отдышаться от магазинной сутолоки. Таким Гостиный стал после блокады, после бомб и пожара — восстанавливая, его переустроили на современный лад. А в двадцатые годы весь Гостиный был разбит на отдельные клетки частных магазинов и магазинчиков; некоторые из хозяев использовали свой второй этаж под склад товаров, иные торговали и наверху, но подниматься на

второй этаж нужно было по узкой винтовой лесенке, громыхающей под каблуками. Конечно, наверху держали товары попроще, а цены у каждого нэпмапа назначались свои — пока ищешь какую-нибудь мелочь вроде пуговиц, стараясь купить подешевле, снуешь из двери в дверь, вверх-вниз — намаешься!

Соломку я давно присмотрела на Невской линии, где находились самые шикарные магазины, но теперь заветного серебристого рулона там не оказалось. Я мялась у прилавка, не решаясь обратиться к солидному продавцу, пока он сам не спросил: «Что прикажете?» — а потом виновато сообщил, что, к сожалению, соломка распродана:

— Зайдите на той неделе, получим обязательно.

Но я не хотела ждать неделю и отправилась по другим магазинам — из двери в дверь, вверх-вниз... И вот в одном из магазинчиков по Садовой линии — рулон соломки, да еще золотистого оттенка. Я робко и восторженно потрогала ее скользкую под кончиками пальцев поверхность. Заплатила. Продавец отмерил сколько нужно и подал мне узкий невесомый пакетик.

Подпрыгивая от радости, я перебежала Садовую, лавируя между извозчиками, трамваями и автомобилями, обошла Публичную библиотеку и, увидав молодую зелень садика перед Александрийским театром, поняла, что не только устала от беготни по крутым лестницам, но и зверски голодна. У лоточницы купила на полученную сдачу румяную булочку с маком, уселась на скамье, вытянула для отдыха ноги и, уплетая булочку, предалась мечтам. Вот прихожу домой и показываю Лельке свою покупку, Лелька поворчит, а потом мы вместе с нею начнем мастерить шляпу, а когда шляпа будет готова, выйду в ней из дому и, быть может, встречу Пальку и он остановится, пораженный тем, как мне идет эта шляпа и какие золотистые блики падают сквозь соломку на мое лицо... Я долго придумывала, что он скажет и что я отвечу.

Затем начала сочинять стихи: «Твое лицо сквозь солнечные блики...» К бликам не находилось никакой рифмы, кроме «великий» и «клики», но событие было недостаточно важным для подобных рифм, что я с усмешкой и отметила. Память подсказала, что мое начало навеяно строками Блока: «...твое лицо в простой оправе передо мной сияет на столе»; но у Блока сказано хорошо и точно, а у меня ерунда: «Лицо сквозь... блики»... при чем тут сквозь?..

А день был весенний, солнечный — счастливый.

Возле меня сидела молоденькая девушка, почти девочка, в белом платке, повязанном по-деревенски, и что-то зубрила по учебнику, шевеля

губами. Я искоса глянула в учебник — кровеносные сосуды? Медичка? Или готовится поступать в медицинский? Но уж очень молода, ей же не больше шестнадцати...

Девочка вдруг сорвалась с места и подбежала к упавшему на дорожке мальчугану, подняла, успокоила, вытерла ему глаза и нос, отряхнула его матросский костюмчик. Сынишка? Не может быть. Братик? Но мальчуган явно городской. Няня?

Когда девочка, заняв мальчугана игрой с другими малышами, снова уселась рядом со мной, я спросила, для чего она учит анатомию, и девочка ответила с охотой:

— Учусь на медсестру. Вот к ним поступила няней, а они меня устроили учиться.

Мимо нас проплыла высокая плетеная коляска с младенцем в розовом капоре. Коляску катил мужчина средних лет в расстегнутой у ворота вельветовой блузе, с гордым и оскорбленным видом, катил и пел, вызывая поглядывая вокруг, хорошо поставленным баритоном:

Улетел орел домой,
Солнце скрылось за горой...

По ту сторону громоздкого памятника Екатерине Второй две нарядно одетые, но препротивные девчушки лет пяти и семи нудно капризничали, а над ними кудахтала маленькая, сморщенная, словно раз и навсегда прибитая женщина, и по всему чувствовалось, что она этих девчушек обожает и готова распластаться перед ними, если им того захочется. Кто она им? Бабушка? Тетка?..

Мимо нас, но в обратном направлении, снова проплыла плетеная коляска, папа в блузе пел теперь арию князя Игоря:

Ты одна-а, голубка лада...

Я рассмеялась, зажала пакетик под мышкой и отправилась домой самым приятным путем — через Манежную площадь и мимо цирка, чтобы пройти по моей любимой Инженерной аллее.

...Этот баритональный папа-певец, он мечтал об опере, о громкой славе, но в оперу не попал, не хватило таланта и голоса, теперь выступает с джазом в кинотеатрах перед началом сеанса. В «Колизее» или в

«Паризиане». Жена моложе его и способней, кончила Театральный, и ее взяли в труппу Александринки, пока крупных ролей не давали, но она дьявольски работала и надеялась... Сегодня ей повезло — неожиданно заболела премьерша и ее вызвали репетировать, вечером «Бесприданница», надо выручать театр! А ей и нетрудно, она сама подготовила роль Ларисы и сегодня блеснет так, что все-все буду рукоплескать новой премьерше...

Но идет ли в Александринке «Бесприданница»?..

...А девочку зовут Тоней — она Антонина или Антонина, как в «Иване Писанине». Дома, в тверской или псковской деревне, братишек и сестренок мал мала меньше, папа погиб на гражданской, пришлось Тоне ехать в город на заработки. Но тут безработица, Биржа труда с длинными очередями... Поступила в домработницы — ради крыши над головой, ради куска хлеба. А люди оказались сознательные, хозяйка — врач, она первая сказала: «Молодая ты и толковая, учиться надо. Живи у нас, Тоня, смотри за мальчуганом, а вечером ходи на курсы, станешь медсестрой — к себе в больницу устрою». Вот и учится, а хозяйка проверяет, диктанты диктует, а уж по анатомии и другим медицинским наукам и спрашивает, и объясняет. Топя пишет домой. «Мамочка, такой она человек, что век благодарна буду...»

...А та, сморщенная, нескладная, она капризулям родная тетка; замуж выйти не удалось, куда уж такой некрасивой, нелепой... Профессии тоже нет, только шить умеет, вот и прижилась у сестры, всех обшивает, с пеленок нянчила племянниц и так полюбила их, что и недостатков их не замечает, какое там! — нет для нее на свете лучших детей, чем эти... А они ее в грош не ставят. Как они ее называли? Матрешка или Морошка? Хлебнет она с ними горя горького на старости лет, а девчушек будет перед всеми выгораживать, еще и себя обвинит: «Старая дура, надоедаю им, путаюсь под ногами!»

Вот так примерно я складывала жизненные истории случайных встречных, и уже казалось, что по-иному и быть не может, скажи мне — никакой он не певец джаза, а Матреша или Мироша никакая не тетка капризулям, не поверила бы, они уже зажили своей, сложившейся в моем воображении жизнью...

После шумной площади у цирка, где припекало по-летнему, Инженерная аллея окутывала мягкой прохладой и тишиной. Прикрытая как навесом ветвями старых лип, она была тениста и в этот послеполуденный час, только кое-где покачивались желтые пятна от пробившихся сквозь молодую листву лучей, а дома напротив, на той стороне Фонтанки, и вода в канале были ярко освещены солнцем, и от стекол, от колебаний воды в

аллею залетали зыбкие отсветы, наполняя ее мерцающим светом. Все было — или казалось — удивительным. Неподалеку приткнулась к каменному спуску барка, нагруженная гончарными изделиями — большими и маленькими кувшинами, горшками толстобокими и горшками высокими, суживающимися кверху, которые в детстве, у бабушки, назывались глечиками. Одни были простыми, цвета обожженной глины, другие облиты цветной глазурью и расписаны веселыми узорами. А на корме раскинулся среди горшков и сладко спал гончар (или кормщик?), подставив солнцу коричневое от загара лицо, обрамленное совершенно золотой бородой, — ну точно былинный богатырь! Да и сама барка с цветастой посудой казалась выплывшей из русской сказки.

Удивительным был и старик с собакой, трудно шагавший по аллее. Он вышел ко мне из другого века — высокий, через силу прямой, на негнущихся ногах, с величавой головой, в котелке, каких давно не носят, человек иной жизни, иной веры, иных устоев. Его собака, когда-то породистая и красивая, была тоже стара, шерсть ее поредела, ноги разъезжались и плохо гнулись... Почему-то я знала, что он бывший «действительный тайный советник». И вот доживает, чуждый всему новому, один со своей одряхлевшей собакой, только с нею и ладит, идут гулять — потихоньку, ей нужно остановиться — и он стоит, величественно, как памятник, а настает вечер — он, кряхтя, ложится в постель, а собака рядом, на подстилку, и оба постанывают во сне...

Они прошли, а меня — от сопоставления, что ли? — прямо-таки захлестнуло упоительное ощущение своей молодости, здоровья и ждущих применения сил, своей причастности новому веку и всем возможностям только-только начавшейся жизни. И от полноты этого ощущения я впервые поняла, что все время — на ходу, в институте и где бы я ни была — я додумываю, дописываю, сочиняю людей и события, и не сочинять не могу, и это не просто так, не ерунда, как мои стихи, это и есть — мое дело, мое будущее, то, чем я не могу ней заниматься, может быть, то, ради чего я родилась на свет.

Я шла по Инженерной аллее, опьяненная своим открытием, и представляла себе: я писатель, у меня выходит книга (даже обложка примерещилась) и вот Палька видит на прилавке книгу... И тут я увидела двоих — мужчину и женщину, они стояли под деревом, держась за руки и сцепив пальцы, стояли и молчали, глядя друг на друга глаза в глаза. Проходя совсем близко от них я поразила выражению их лиц — была ли то беззаветность любви? отрешенность от всего существующего вне их двух жизней? отчаянность свиданья — вопреки всему, что мешает?..

По этому выражению, одинаковому у обоих, я сразу узнала их. Да, я их видела вот тут же, на аллее. Было это еще до ссоры с Палькой, значит, в марте или в самом конце февраля. Днем победно трезвонила капель, а вечером было по-зимнему холодно и ветрено, нам некуда было деваться, и мы бродили по улицам, но люди нам мешали, вот мы и забрели сюда, на пустынную темную аллею, где и ветра поменьше. Мы стояли у перил обнявшись, и вдруг Палька отвел руку и отодвинулся, потому что к нам приближались двое — мужчина и женщина, оба уже немолодые (если бы молодые, Палька не застеснялся бы). Шли они странно — не под руку, а за руку, сцепив пальцы. На другом берегу канала с набережной на мост свернул автомобиль, ударил в их лица лучами фар, и я увидела то самое выражение счастливой или отчаянной отрешенности... Мы для них не существовали, они остановились совсем неподалеку от нас, плечо к плечу, женщина засмеялась (очень славный, ласкающий был у нее смех!) и сказала: «Не спорь! Я ее тебе дарю на вечные времена. Аллея — твоя!» Мужчина ответил счастливым голосом: «А что мне делать с нею? И как другие узнают, что она моя?» Женщина заговорила быстро и горячо, я разобрала только несколько слов: «...даже когда меня не будет... с другой... все равно вспомнишь...» Мне показалось, что в ее голосе — слезы. Захваченная непонятностью отношений этих двух людей, я готова была без стыда прислушиваться к их разговору, но Пальке до них не было дела, он заговорил о своем, а те двое медленно пошли вперед и затерялись в темноте.

И вот они опять здесь. Стоят, сцепив пальцы, будто прощаются и никак не могут расстаться. На Инженерной аллее, которую она ему подарила, чтобы он вспоминал о ней, даже когда ее не будет. На этот раз заметно, что он моложе ее. Я хорошо вижу ее лицо, уже тронутое морщинками, стараюсь взглянуть на нее глазами ее спутника, и мне удастся увидеть, что в ее немолодом и как будто обыкновенном лице есть странная притягательность, очарование внутреннего света, о котором так поэтично писал Толстой, — света ясной души, ума, нежности... Нет, определения не давались, то, что происходило с этими двумя, было вне моего опыта, только смутно ощущалась трагедия любви, недоступная моему пониманию...

Я уже прошла мимо, когда женщина оторвалась от своего любимого, обогнала меня и вот — почти бегом — уходила, уходила от него... и от самой себя?.. Я не удержалась и оглянулась — он стоял на том же месте и смотрел ей вслед. Хотела бы я, чтобы Палька когда-нибудь вот так смотрел мне вслед!..

Долго простояла я в тот день у перил набережной. Ни пересказать, ни

вспомнить всего, о чем я там раздумывала, не могу — да и нужно ли? Человеком, осознавшим свое призвание, я вступала в загадочный мир человеческих отношений и чувств, в котором понимала гораздо меньше, чем наивно думала еще вчера, но я верила, что познаю его, и будущее сияло мне, как этот день, удивительное.

Когда я собралась наконец домой, где давно ждет Лелька, я вдруг вспомнила о своей покупке. Ее не было.

Я кинулась назад, всматриваясь, не лежит ли на выщербленных плитках тротуара узкий пакетик. Ведь столько месяцев копила! Так мечтала! Как же это?..

— Чего потеряла? Деньги? — спросила нянька, гулявшая с ребенком.

— Да нет, пустяки, — сказала я и пошла обратно вдоль аллеи и не горевала, а улыбалась солнышку, перистым облачкам в небе, искрящейся воде канала и собственным мыслям. Соломка и в самом деле пустяки, а будущая жизнь огромна и нельзя растерять это сегодняшнее настроение, этот свет и предчувствие, — и на что мне нужна какая-то дурацкая прозрачная шляпа?!

Подходя к дому, я увидела Пальку Соколова — он соскочил с подножки трамвая и явно направлялся в общежитие. Он тоже заметил меня. Радость была короче вспышки магния. Палька мгновенно погасил ее, посуровел и отвел глаза. Но таков был этот день открытий, что я поверила только первому, естественному проявлению, и впервые поняла, почему Палька зачастил в общежитие и подолгу болтает с приятелями в коридоре, и вся эта игра показалась мне ничтожной перед силой любви.

Откинув недостойное притворство, я улыбнулась и пошла ему навстречу.

Узловая станция

Не получалось ни-че-го.

Как наяву виделась темная Инженерная аллея и тускло-черный чугунок решетки, ограждающей набережную, и два желтых луча вразлет, предваряющих бегущий по той стороне канала автомобиль: лучи будто переломились, когда автомобиль повернул на Пантелеймоновский мост, полоснул светом по глухой черноте деревьев и на миг высветил два лица — два немолодых лица со странным выражением отрешенности. Я угадывала поздно пришедшую любовь и препятствия, вставшие на ее пути, искала для

нее выход — счастливый выход! — и находила его. Нет, не сразу, тут ничего нельзя облегчать, но разве любовь не может все преодолеть?!

Дождавшись вечера, когда Лелька с Мишей ушли, я с наслаждением вставила в ручку новое мягкое перышко, раскрыла на первой странице тетрадь, вывела название: «Инженерная аллея». Начало мне было ясно — темная аллея, два луча, переломившиеся при въезде на мост, лица влюбленных... Попробовала это написать — и сразу все потускнело, слова лезли неточные, лучи не переламывались, лица были обыкновенны, даже банальны, их описание можно было отнести к любым другим. Может быть, начать с разговора влюбленных? Я видела — говорят, слышала взволнованные голоса, но не улавливала ничего, кроме все тех же подслушанных слов... Прозрение, посетившее меня в недавний день на аллее, не заменяло истинного знания. Вечер за вечером я писала, то и дело выдергивая страницы или с яростью вымарывая бездушные красоты, но тогда ложились под перо слова заемные, из книг. Что я знала о любви и страданиях взрослых людей, кроме вычитанного из романов!..

С досадой сунув тетрадку под тюфяк, я убегала из общежития — тихонько, чтоб никто не привязался, — и бродила одна по улицам, по набережной Фонтанки, подолгу стояла на Инженерной аллее, надеясь, что здесь додумаю, довоображу, пойму, что же у них происходило, у моих героев, и как они говорят, и что думают, и чем должно кончиться... Нет, мысль и фантазия создавали нечто расплывчатое, детали ускользали, их не было. И не хватало ума понять, что задуманное — вне моего опыта. Но однажды вспомнила, как пыталась рассказать Пальке об этих немолодых влюбленных, а он махнул рукой: «Все-то ты выдумываешь!» — вспомнила и рассмеялась про себя, потому что до той встречи на Инженерной аллее сама, так же как Палька, не поверила бы: им же лет под сорок, какая тут может быть любовь!..

Бросив в печку начало недающегося рассказа, я задумалась — с чего же начать? Давно, еще в Карелии, меня томила тема, возникшая в поезде на пути в Олонец: артель плотников во главе с патриархальным старшим, сивобородым дядечкой, нанималась на сезонные работы по селам, по станциям, по работы попадалось мало, и вот решили по письму земляка податься на Волховстрой, на громаднейшее строительство, где набирают рабочих — сколько бы ни приехало, всех берут, и заработки хорошие, да еще дают жилье и пайки... Всем своим комсомольским существом я понимала — не удержится в артели патриархальный уклад, будет в жизни парней крутая ломка... Но что я знаю о Волховстрое? Что я знаю об этих парнях? Тема интереснейшая, но ради нее надо побывать на большом

строительстве, а значит, выскочить из своего проклятого возраста, и доучиться, и определиться...

Взялась за тему простую, доступную — история Мироши, увиденной в садике у Александринки. Чем больше я раздумывала об этой нескладной, затюканной женщине, тем трогательней и человечней виделся рассказ о ее тоске по материнству, нашедшей выход в безрассудной любви к чужим капризным детям, и о горечи одиночества, наступившего, когда дети перестали нуждаться в ней... Писала увлеченно, каждый свободный час, даже с Палькой откладывала встречи. Но, перечитав написанные страницы, ужаснулась — это не рассказ, не история одного сердца, а бледная информация о переживаниях, которые я не сумела передать!

Еще одна тетрадь полетела в печку.

Конечно, я вскоре забыла свою несчастливую Мирошу. Но восемнадцать лет спустя в осажденном Ленинграде, когда сутки за сутками, днем и ночью одинаково страшными, сама жизнь диктовала мне судьбу моей героини Марии Смолиной, рядом с нею проступил облик невзрачной, светливой, самоотреченно-доброй женщины, всем сердцем потянувшейся к маленькому Андрюшке, а вместе с этим обликом выплыло имя — Мироша. Никакое иное имя к ней не прирастало — Мироша и Мироша! Только много позднее я вспомнила, откуда оно взялось. А «Инженерную аллею» я написала еще позже, когда смогла до конца понять драму, угаданную в юности, обогатив давнее впечатление опытом собственной жизни, знанием всей цепкости взрослых обязательств, пониманием неповторимых особенностей каждой большой любви, неотвратимости течения лет и неотвратимости разлук...

Неудачи первых юношеских попыток меня не расхолодили, как-никак впереди была вся жизнь, казавшаяся необозримо длинной. Только лихорадило от нетерпения: нет опыта и знаний, не умею писать и вообще ничего не умею — тем более нельзя терять годы зря, нужно немедленно определить, что делать, чему и как учиться. А кто подскажет? Советоваться было не с кем, да и глупо прозвучит в устах семнадцатилетней студентки: «Хочу быть писателем». Любой человек скажет: «Сперва доучись». А чему меня научит наш Внешкольный? Тому ли, что понадобится в литературном труде? И много ли жизненного опыта я наберу в институте и в общежитии? Тот ли опыт, которого мне не хватает?

Студенческая жизнь злила меня пассивностью — слушай лекции, учи, сдавай зачеты и опять слушай. Хотелось активности, действий, институт воспринимался как перевал на пути — но тот ли, нужный ли мне перевал?

Совсем недавно я ссорилась с Палькой из-за того, что он бросил

рабфак. Теперь я ему завидовала — Палька руководил комсомольской организацией на заводе «Электрик», он прибежал веселый, оживленный, переполненный интересными планами, он *действовал*. А я чего-то ждала и неведомо зачем изучала педагогические системы Платона и Аристотеля — на кой мне черт почтенные старцы?!

Мой насмешливый друг Борис Акентьев, с которым мы славно дружили до конца его дней, однажды сказал, посмеиваясь:

— Знаешь, ты как узловая станция — поезда со всех сторон приходят и по всем направлениям отправляются. С минутными интервалами.

Это было сказано года три спустя, но именно в те дни — и надолго — началось состояние «узловой станции». Мои глаза разбегались, я хваталась то за одно, то за другое упоенно впитывала все впечатления и мысли, решала и перерешала, что делать с собой.

Осенью, когда я начала учиться на первом курсе института, Палька предложил мне познакомиться с заводом.

Все производство «Электрика» помещалось тогда в одном красно-кирпичном здании, оно и ныне стоит среди вновь построенных корпусов, но теперь выглядит небольшим, а в то время казалось внушительным. Я оробела, переступив его порог и восприняв то, что прежде всего воспринимает новичок, — ритмичный гул машин и приводов, ритмичное дрожание воздуха, и стен, и пола под ногами. Это был первый в моей жизни завод. Правда, в Петрозаводске я не раз бывала на Онежском заводе, но ни разу толком не прошла по цехам — видимо, тогда не было заинтересованности, меня гораздо больше занимали злокозненные мастера и начальники, уклоняющиеся от приема на работу подростков.

На «Электрике» я впервые вглядывалась в настоящий производственный труд, в процесс *делания*. Завод произвел на меня впечатление таинственного и могучего организма, где люди и машины действуют слитно. Управляя своими жужжащими, ухающими, скрежещущими или звенящими станками, сотни людей занимались чудесным превращением грубых тусклых кусков металла в гладкие сверкающие детали, чье назначение было мне неизвестно, а им понятно и привычно. От того, что каждый рабочий трудился как будто сам по себе, иногда останавливал станок и уходил от него перемолвиться с кем-либо словом, а то и вообще куда-то уходил, ощущение слитности и взаимосвязанности всех со всеми в общем процессе не уменьшалось, а даже усиливалось — каждый *знает*, что и когда можно, а что и когда нельзя, чтобы не нарушить общего ритма. А ритм ухватывался и глазом, и особенно слухом. Теперь уже не встретишь цехов с трансмиссиями и

приводами, а тогда каждый станок приводился в движение приводным ремнем, ремни вращались с монотонным шипением, пощелкивая заплатами. И в каждом цехе был шорник, который менял износившиеся ремни или латал те, которые еще могли послужить.

Из ребяческого самолюбия я стеснялась расспрашивать, что и для чего, а Палька, рисуясь перед рабочими, говорил со мною снисходительно и вел себя петухом. Кроме того, половина его объяснений пропадала из-за шума. Рабочие поглядывали на меня с улыбочками, они, видимо, не сомневались, что комсомольский секретарь привел на завод «свою девчонку», и пошучивали на мой счет.

К счастью, нам встретился один из комсомольских активистов, длиннющий электромонтер в синей робе, очень ладно облежавшей его крупную широкоплечую фигуру. У него было не то чтобы красивое, но очень интересное, запоминающееся лицо, умные светлые глаза, четкая речь. И говорить в шуме цеха он умел так что каждое слово до тебя доходит. Палька называл его Жоржем и даже Жорой, но сам он представился строже:

— Георгий.

Мне это понравилось и сам Георгий понравился.

Кончилось тем, что Георгий повел меня дальше, а Пальку я отправила обратно в комитет. Георгий и производство знал лучше, и вел себя по-товарищески, не петушась.

Мне было интересно, но ушла я из цехов с тревожащим ощущением, что я тут экскурсант, посторонняя; вот ведь комсомолка, борец за дело рабочего класса, «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а рабочих не знаю и побаиваюсь, и они меня не приняли всерьез — так, девчушка пришла по приглашению хахаля подивиться на их труд...

Палька ждал нас в комитете. Были там и еще ребята. Палька меня со всеми познакомил, сказал мне и Георгию: «Садитесь» — и тут же заявил:

— Так вот, есть предложение дать тебе один политкружок. Согласна?

Я не успела и рта раскрыть, как Палька обратился ко всем присутствующим:

— Я оставил для нее кружок самый молодой по составу. В списке двадцать восемь ребят.

— Но послушай... — начал Георгий возмущенным тоном.

— Вера справится, — перебил Палька, — так вот, Вера, в четверг первое занятие. Сейчас дам тебе программу...

Коварство его замысла (Палька снова — в который уж раз! — испытывал меня «на прочность») я поняла ближайший четверг, стоило мне

войти в отведенный для занятий класс. Орава мальчишек прыгала через скамьи, толкалась, кричала, свистела. Меня они встретили издевательским «тю-ю-ю!» и смехом, мой вид явно не внушал почтения. Решив не сдаваться, я заняла свое место и постучала по столу, требуя тишины, но это их только раззадорило.

Дверь распахнулась толчком. На пороге остановился Палька Соколов.

— Ну вот что, — медленно произнес Палька, — вы уже второй год отлыниваете от учебы. Больше этого не будет. Если хотите работать на заводе. Дурачки заводу не нужны. Хулиганы тоже. Мы дали вам лучшего руководителя политкружка. Студентку. Старого комсомольского работника.

Кто-то громко прыснул, кто-то хихикнул — на старого работника я не походила. Но Палька двинул рукой — смех прекратился. Он аттестовал меня как отчаянно храбрую комсомолку, которая и кулаков не боялась, «а уж с вами справится»...

Когда он вышел, в относительной тишине я сделала переключку — из двадцати восьми озорников, которых Палька «под метелку» собрал из всех цехов, пришло около двадцати. Про отсутствующих, про всех до единого, хором сообщали, что такой-то сидит у больной тети, у больного дяди, у больной бабушки и даже «у больного ребенка, своего!». Особенно озорно, паясничая и стараясь вывести меня из себя, отвечал рослый круглолицый паренек лет пятнадцати, его коротко подстриженные рыжие волосы стояли торчком, а сам он все время ерзал на месте, дергался, крутил руками, видимо, сидеть тихо не умел. Фамилия была соответствующая — Шипуля. Именно Шипуля, жалостно вздыхая, сообщил мне про какого-то Ваню шестнадцати лет, что он не отходит от своего больного ребенка.

Проклиная в душе коварство Пальки, я готова была разразиться гневной речью, но в последний миг меня осенило — надо принять игру!

— Очевидно, на заводе началась эпидемия, — сказала я, — придется всем вам сделать прививки, я об этом сообщу в медпункт. А пока давайте выберем старосту.

Несколько минут шумно выясняли, для чего старосту и каковы его обязанности. Затем стали выкрикивать фамилии друг друга — наверно, выкрикнули фамилии всех, кто присутствовал. Но я все же была «старым комсомольским работником» и вспомнила одну из комсомольских хитростей: если в клуб ходит ватага хулиганов, их предводителя надо назначить ответственным дежурным. Здесь случай похожий.

— А я предлагаю выбрать старостой товарища Шипулю.

Как ни странно, Шипуля покраснел, растерялся, начал отказываться, но я добила его вопросом:

— Или у тебя нет авторитета? Боишься, что ребята не будут слушаться?

— То есть как — не будут?!

И Шипуля стал старостой.

Занятие я провела с грехом пополам, из всего подготовленного (а готовилась я целый вечер) выбрала только самое яркое, впечатляющее. Казалось, ребятам понравилось. Но на следующее занятие пришло всего девять человек.

Так началось мое единоборство с озорной мальчишеской вольницей, шло оно с переменным успехом и оказалось захватывающе увлекательным — кто кого? Платон с Аристотелем тут помочь не могли, надо было думать и пробовать самой то так, то этак. И обязательно справиться, не запросить у Пальки пощады. Пришлось перебрать уйму книг, выискивая увлекательные подробности про перевозку нелегальной литературы, тайные маевки, борьбу с провокаторами и сыщиками, побеги из тюрем... Слушали с явным вниманием — а потом не приходили на очередное занятие. Почему? За неделю забывали, что было интересно? Отвлекались иными интересами? Цеплялись за привычное «не хочу учиться — и не буду»?..

Справиться с мальчишками помог Шипуля.

— Что ж это получается? — сказала я своему старосте. — Может, у тебя действительно нет авторитета, что ребята не слушаются?

— Послушаются, — покраснев так, что его рыжая голова загорелась закатным солнышком, грозно пообещал Шипуля.

На следующем занятии было двадцать три человека — рекорд!

— А эти где? — спросила я, ставя прочерки у фамилий отсутствующих. — Заболели? Прививки им не сделали?

— Сделаю, — сказал Шипуля.

Постепенно я познакомилась со всеми своими подопечными. Только один парень упорно не появлялся, так что я даже не знала, как он выглядит, Иннокентий Петров, про которого ребята говорили: «Кешка? Ну, этот не придет».

— Не считается он с тобой, что ли? — вскользь бросила я.

— Ничего, посчитается, — сказал Шипуля.

На следующее занятие пришел новый слушатель, но в каком виде! Под глазом багровел синяк, на скуле расплывался второй, сел он как-то боком, морщась от боли. Кешка!

— Что с тобой, Петров?

В настороженной тишине, покосившись на Шипулю, Кешка буркнул:

— Упал. На лестнице.

Вскоре наш кружок вышел на первое место по дисциплине и посещаемости. Палька говорил:

— Я же знал, что справишься!

На заседании комитета хвалили Шипулю — образцовый староста! Шипуля сидел у всех на виду розовым ангелом. Георгий поглядывал на меня смеющимися глазами: Шипуля ходил у него в учениках и Георгий кое о чем догадывался. А я помалкивала. Конечно, у Шипули методы не очень педагогичные... Хотя кто знает? У мальчишек свои законы.

Меня тоже хвалили, и это было приятно, но похвала похвалой, а чувство удовлетворения было куда глубже. Единоборство с мальчишечьей вольницей, оказывается, доставляло мне не только волнения (на каждое занятие я шла со страхом — что-то будет?), но и наслаждение, когда удавалось создать на занятии заинтересованную тишину, когда я видела в глазах мальчишек — пусть не всегда, но хоть изредка — внимание и доверие.

А Кешка оказался занятным пареньком. На его живом и умном лице с постепенно бледнеющими синяками отражалось все, что я рассказывала. Если я читала какой-нибудь отрывок из книги, он потом непременно подходил посмотреть, что за книга, иногда записывал название, а то и просил «почитать до следующего четверга». Первый раз дала с опасением — книга библиотечная, вдруг замотает? Но он возвращал книги аккуратно и всегда обернутыми газетой, чтоб не запачкать. «Наконец-то я *делаю* что-то стоящее, — думала я, — может, это и есть то, что нужно? Что поважней Платона и Аристотеля?!» Оно и вправду оказалось нужным не только из-за той маленькой пользы, которую я приносила ребятам, но и потому, что я их здорово узнала за два года, этих озорников, и знание отложилось в писательскую копилку — впоследствии в моих книгах появился и Шипуля (роман «Рост»), и Кешка («Дни нашей жизни»), да и всякий раз, когда мне нужно было написать мальчишку, так или иначе вставали в памяти те давние, с «Электрика»...

Приближались Октябрьские праздники, и заводской комитет комсомола включил меня в штаб по проведению молодежного вечера. Палька даже не спросил заранее могу ли и хочу ли я, он безапелляционно заявил на первом заседании штаба;

— Значит, так. Вера напишет инсценировку. Вере и Жоржу поручим ее поставить.

И перешел к другим пунктам плана.

До праздника оставалось две недели.

И все же я ее написала, инсценировку, и мы успели ее поставить! Что это было? Халтура? Нет. Дерзость от невежества? Ближе к истине, но все же нет. Их тогда много писали и много разыгрывали своими силами, не мучаясь сомнениями, и зрители принимали их, эти скороспелые инсценировки, с открытой душой. Вспоминая увлеченность, с какою их играли и смотрели, я думаю, что успех многочисленных самодеятельных постановок определялся созвучностью, слитностью настроения авторов, актеров и зрителей. Темы были неотделимы от того, что мы переживали, от того, что происходило в мире — да, во всем мире, масштабы у нас были планетарные, мы не умели иначе воспринимать жизнь и говорили о ней языком революции и борьбы, горячо, как мобилизующая листовка, и обобщенно, как плакат.

О чем была моя инсценировка к шестой годовщине Октябрьской революции? Память почти ничего не сохранила, по я знаю, о чем она была, потому что та осень была осенью гамбургского восстания и его разгрома, мы жили драматическими событиями в Германии — как же я могла не отразить их? Каких-нибудь полтора года назад я не умела объяснить видлицким лесосплавщикам новое слово *фашизм*, но вот уже год длилось кровавое господство чернорубашечников Муссолини в Италии, совсем недавно, летом, произошел фашистский переворот в Болгарии, в сентябре — в Испании... Ко всему, что происходило в мире, примешивалось ощущение нарастающей фашистской опасности. Еще ничего не зная о будущем тяжелейшем и длительнейшем бое с фашизмом, где многие погибнут, мы уже чувствовали ответственность за судьбы всего трудового человечества и хорошо понимали, что наша первая страна социализма — опора и надежда для рабочих всего мира. Об этом и говорила инсценировка, иною она просто не могла быть.

Играли заводские комсомольцы, а мы с Георгием были постановщиками, декораторами и костюмерами; Георгий готовил еще и осветительные эффекты, которые мы не успели отрепетировать, так как у «Электрика» своего клуба не было, вечер проходил в чужом клубном зале, куда Георгия с помощниками допустили только перед спектаклем. Как всегда, хуже всего обстояло дело с исполнительницами женских ролей — бойкие заводские девчата теряли бойкость при одной мысли о том, чтобы выйти на сцену, да еще в «чужом» клубе! Накануне спектакля одна из главных исполнительниц расплакалась и отказалась, так что пришлось играть мне, что я и сделала — решительно, но плохо. Сама слышала неестественность своего голоса и замечала, что все время размахиваю

руками, но изменить ничего не могла. К тому же Георгий увлекся эффектами и заливал сцену то зеленым, то красным, то лиловым светом, меня особенно злил лиловый, так как я считала, что он мне «не к лицу», да и зрители отвлекались, следя за игрою света («Ну и Жорка! Во дает!»). Я злилась на Георгия, но изо всех силенок вытягивала свою роль — героическую роль, которую стыдно провалить. Удалась мне только концовка, да и то случайно: мне предстояло погибнуть на баррикаде, я падала, сраженная пулей, а мой товарищ должен был одной рукой подхватить меня, а другой — падающее из моих рук знамя. Оступившись на сложенном наспех, шатающемся сооружении, он успел схватить древко, а меня не успел, так что я весьма натурально грохнулась навзничь, больно ударившись о выступы столов, досок и железного лома. В зале аплодировали и моей невольной самоотверженности, и снова взвившемуся красному знамени.

Вечер продолжался, а я полулежала за кулисам в старом, тухлявом кресле, у меня остро болел затылок и ныла ушибленная спина, хотелось плакать и еще больше хотелось, чтобы пришел Палька, чтобы я ощутил его тревогу и нежность.

И вот он появился, Павел Соколов. Я слышала, как он ругает моего партнера, затем он зашел в закут, где меня пристроили, как-то небрежно спросил меня: «Ушиблась здорово?» — и, не дожидаясь ответа, сказал равнодушно и властно:

— Поезжай домой. Сейчас найду какого-нибудь провожатого, он тебя отвезет на извозчике.

И ушел, так и не обронив ни одного ласкового слова.

Пока он искал провожатого, прибежал за кулисы встревоженный Боря Котельников, один из моих новых заводских приятелей. С дружеской заботливостью предложил проводить меня, помог встать, взял под руку...

— До извозчика дойдешь? Или сбегать привести?

— Пойдем, пойдем.

Я заторопилась — пусть Палька поищет, куда я делась.

Вышли на затихшую к ночи улицу. Дождя вроде и не было, а воздух был насыщен влагой. Серая пелена скрыла звезды и луну, но слой облаков был тонок, сквозь него сочился размытый свет. После волнений и трудов длинного дня все было отрадно — и влажный воздух, и наш неторопливый шаг по пустынным улицам, и поддерживающая рука Бориса.

— Вон извозчик. Давай отвезу?

— Не надо. Пройдемся.

И в самом деле — пешком было куда лучше, боль в затылке отпускала,

дышалось все легче. Приятно было слушать похвалы Бориса, высказываемые задумчиво, будто он взвешивал каждое слово.

Так же, как Георгий, он был рабочим высокой квалификации, его на заводе ценили. Милый, застенчивый, легко краснеющий и робеющий перед девушками (чего нельзя было сказать про Георгия, порядком ими избалованного), Борис был интеллигентен не столько по образованности, сколько по душевной сути, не всегда совпадающей с количеством знаний, но неизмеримо более важной в человеческом смысле. И Георгий, и Борис были новы для меня и привлекали больше, чем знакомые студенты, у обоих чувствовалась жизненная устойчивость, серьезность, определенность, чего так не хватало мне самой.

В тот вечер я была неплохого мнения о своих способностях — аплодисменты еще звучали в ушах! — и приняла без возражений похвалу моей инсценировке («Так быстро и хорошо сочинила!») и даже моей актерской работе («Когда ты появилась на баррикаде в красном луче — ну будто на самом деле!»). На миг экспресс мечты уже понес меня в Театральный институт — может, это *мое*?. Но Борис продолжал, думая вслух:

— Наверно, это и есть то, что должно быть у студента Внешкольного института? Уменье организовать, написать, сыграть, увлечь других?

Такой поворот мысли был неожидан. И очень характерен для жизненной позиции Бориса: человек учится избранной профессии — значит, важно, есть ли у него необходимые данные. Вот он и взвесил — есть. Конечно, он и представить себе не мог, что идущая рядом девушка приехала в институт по путевке комсомола, толком не зная, кого тут готовят, и что маячащая впереди работа не привлекает.

На миг профессия осветилась новым, ярким светом и очередной экспресс понес меня в будущее — в клуб, а то и во Дворец культуры, где сотни людей спешат в драмстудии, в оркестры, в хоры, в танцевальные ансамбли... Стоп! Свет отключился.

— Понимаешь, Боря, меня тянет другое.

На пустой улице, в потемках, с этим милым малознакомым парнем оказалось совсем не стыдно говорить о том, что я до тех пор не решалась высказать никому. Борис не только понял меня, но и оценил мое стремление с конкретностью, какую я сама искала и не находила. Мои неудачи его не удивили:

— Ты пока мало знаешь людей изнутри, а ведь тут нужна вся душа человека, верно?

Он расспрашивал, есть ли такой институт, где можно подготовиться к

писательству, и сам же решил, что научить этому нельзя, «это же не болты-гайки и посложней самой тонкой аппаратуры». Спросил, много ли я читаю и кого из писателей люблю. О Толстом он сказал:

— Ну, этот знает души до доньшка.

Эмиля Золя он не читал совсем. Повторил вслух:

— Эмиль Золя, Эмиль Золя. Прочитаю. — А потом опять подумал вслух: — Даже очень большим писателям подражать все же нельзя. Но, наверно, многому можно научиться, если вникать, как они пишут?

Вникать.

Мы шагали в ногу и необременительно молчали, и десятки коротких поездов устремлялись к «Войне и миру», к «Очарованному страннику», к «Мартину Идену», к «Его превосходительству Эжену Ругону», к «Спартаку», к «Пармской обители», к «Оводу» — к книгам, которые меня по-разному впечатляли и в которые надо было *вникнуть*.

Посидели в сквере возле памятника «Стерегущему». Теперь я расспрашивала Бориса, чего он хочет в жизни. Борис отвечал застенчиво, но планы у него были определенные, он знал, чему именно хочет учиться и какую точно техническую специальность хочет получить.

— Только я пойду в вечерний. Матери помогать надо.

У моего дома еще постояли, хотя порядком закоченели. Борис взял мои руки и осторожно растирал пальцы, согревая. Если бы он захотел меня поцеловать, я бы не оттолкнула его, в эти минуты я верила, что нашла наконец-то самого лучшего, близкого, все понимающего друга, не то что...

— Как голова, болит?

— Нет, прошло.

— Я так испугался, когда ты полетела... А Соколов — тот даже вскрикнул и вскочил с места.

Вот как!

Я взбежала по лестнице, повторяя про себя: «Вскрикнул и вскочил!» А потом... притворщик!

С подоконника на верхней площадке поднялся Палька. Встрепанный, бледный до синевы. Похоже, он даже не мог пойти мне навстречу, стоял и ждал, вглядываясь в мое лицо бешеными глазами.

— Где ты была?! — почти шепотом выкрикнул он. — Всю квартиру переполошил, торчу здесь битый час! Мне уж бог знает что мерещилось! Хотел бежать по больницам!.. Где ты шаталась половину ночи?!

Каким оно разным бывает — счастье.

А потом начались неприятности.

Целыми днями пропадая на «Электрике», я совсем забыла об институте, да и некогда было: репетиции, декорации, костюмы, подготовка к занятиям с мальчишками, заседания штаба и просто болтовня с новыми друзьями — где уж тут ходить на лекции! В институте это заметили. Если бы я жила по-прежнему в земляческом общежитии, все обошлось бы. Но осенью в Питер перебралась мама, мы сняли две комнаты у хозяек огромной квартиры на Кирочной, 19, мама взяла напрокат рояль и начала давать уроки музыки, одновременно стараясь найти работу в музыкальной школе. Маму я не боялась и не очень-то слушалась, но мамина эмоциональность мне нередко досаждала: придешь поздно — мама еле жива от волнения, не поела вовремя — расстраивается, Палька засиделся — мама ни за что не ляжет, пока он не уйдет, да еще внезапно открывает дверь из своей комнаты и заглядывает, приготовив липовый предлог. Чтоб избежать лишних разговоров, я не посвящала ее в свои дела, поэтому она была ошеломлена, когда две студентки зашли выяснить, не больна ли я и почему не бываю в институте. Припомнив, как недавно Палька среди ночи меня разыскивал, она вообразила черт те что и не только не попыталась меня выручить, но еще и поделилась своими страхами — с утра уходит, если не на лекции, то куда же?.. В общем, подвела меня кругом.

Вызов в деканат пришел суровый, с угрозой исключения.

Когда я прибежала в институт и осторожно приоткрыла дверь к декану, у него сидел кто-то посторонний, я отпрянула, но декан заметил меня и позвал. Был он нестарым и отнюдь не грозным, а вот незнакомец меня напугал: крупный, осанистый, с сильной проседью, с темными зоркими глазами, он так разглядывал меня, что, казалось, сразу приметит мое легкомыслие. Запинаясь, я кое-как выпалила приготовленные слова о том, что прошу меня не исключать, что зачеты я сдам вовремя.

— Хочу верить, — сказал декан. — А теперь давай начистоту. Где пропадала?

Почему-то мне тогда представлялось, что мое увлечение заводскими делами будет осуждено — дескать, переметнулась из своей организации в чужую, кому нужны такие студентки! Я молчала, не зная, как выпутаться.

— Может, влюбилась? — улыбаясь, спросил тот, посторонний.

Согласиться было бы стыдно, а соврать этим зорким глазам невозможно. И я рассказала правду, постепенно распаляясь, так что влетело и Платону с Аристотелем, которые ничем не могут помочь в единоборстве с хулиганистыми мальчишками. Само собою вышло, что говорила я не декану, а незнакомцу со всевидящими глазами. И повел разговор именно он.

— Значит, Платона и Аристотеля побоку? А вот у Ленина и задач, и дел было побольше, чем у вас, однако он блестяще изучил философию начиная с древней. Сумма знаний не всегда помогает непосредственно, она приучает мыслить интересней и глубже...

Он развернул передо мной целую картину — от древности идет как бы эстафета идей, зернышко, брошенное одним ученым, прорастает у другого, разные идеи, сталкиваясь и обогащая одна другую, двигают прогресс. В какой-то связи он произнес запомнившиеся мне слова «думающее человечество». Я чувствовала себя ничтожеством, никак не причастным к думающему человечеству, но преисполнилась желанием немедленно, сегодня же, начать изучать всех философов всех времен, даже, будь они неладны, Платона с Аристотелем... Со стыдом вспомнила, как из кокетства ходила с «Критикой чистого разума» Канта под мышкой и как сладко заснула на раскрытом томе Гегеля...

И тут меня настиг вопрос:

— А вы читали статьи Ленина о реорганизации Рабкрина?

Мне смутно припомнилось, что весной в «Правде» были напечатаны две статьи Ленина, мы все радовались — значит, Ильич поправляется после болезни, вот и статьи написал. Но прочитать я не удосужилась, первая статья была посвящена, как мне показалось, сугубо ведомственному вопросу, что-то насчет Рабоче-крестьянской инспекции, вторая привлекла своим названием — «Лучше меньше, да лучше», — я начала читать, но что-то отвлекло, ну и не дочитала. Ленина — не дочитала! Комсомолка! Руководитель политкружка!

— Эти статьи выходят далеко за рамки частной темы, — так или примерно так сказал мой собеседник, и строгое лицо его стало еще суровой и даже горестней.

То, что он сказал дальше, изгнало остатки легкомыслия, с которыми я прибежала в деканат, чтобы отвертеться от наказания. Он сказал, что у Ленина идет речь о будущем всего Советского государства, об условиях, без которых не построить социализм, и что эти статьи, по существу, завещание нам, молодым, следующим поколениям революционеров.

— Между прочим, он пишет, что у нас не хватает культуры, не хватает *цивилизованности*... Так что пренебрегать знаниями не стоит. — Затем он повернулся к декану и сказал другим, добродушным тоном: — Студентка первого курса занимается с заводскими подростками, пишет и ставит инсценировку... это, по-моему, хорошо. Простим ее?

Прощенная и вроде даже похваленная, я ушла, так и не узнав, кто меня пристыдил, а потом вырубил. Завернула в широкий коридор первого этажа,

где всегда кучились студенты, увидела комсомольского секретаря Петю Шалимова и разбежалась к нему с вопросом, не знает ли он... Но Петя сурово приказал мне прийти на заседание комитета:

— Дашь объяснения по поводу своей недисциплинированности.

Я сказала: «Ну и дам!» — и все же докончила вопрос по поводу человека, встреченного у декана, но Петя ответил язвительно:

— Вот и видно, что ты с начала учебного года не была ни на одном институтском собрании.

Шла я на заседание комитета получать нахлобучку, но ребята, вместо того чтобы ругать меня, порасспрашивали, что за инсценировку я написала и поставила, а потом поручили срочно в порядке комсомольского задания написать пьесу для институтского драмкружка и даже оговорили количество мужских и женских ролей — по количеству участников. Само задание меня не испугало, а вот то, что руководит кружком настоящий режиссер... из настоящего театра...

Пьеса, ко благу, не сохранилась, думаю, что она чести автору не делала, так как была неким сплавом приемов, пленивших меня в постановках Мейерхольда и в «Принцессе Турандот» у Вахтангова, да еще плакатных приемов «живых газет». Только в двух сценах, где объяснялись мои молодые герои, я забыла о подражании и дала волю желанию раскрыть психологию и чувства героев. Я не осознавала, но смутно чувствовала, что именно в этих двух сценах осталась сама собою.

Режиссер был уже немолодым (так мне виделось, хотя теперь я думаю, что ему было лет тридцать или чуть больше), говорил темпераментно и отрывисто, заглатывая слова и обрывая фразы на полуслове, а когда глядел на тебя, казалось, что горящим взглядом он пронизывает тебя насквозь и уже где-то за тобою видит нечто гораздо более значительное. Пьеса ему понравилась — «как раз то, что...». Меня он расхвалил — «молодое дарование»! «Ее обязательно нужно рас...». Перед драмкружковцами широко раскинул сильные руки, будто что-то держал в ухватистых пальцах, — «сыграем! Острейший рисунок! Каждое движение, каждое слово гротесково уси...». Затем он размашистым карандашом вымарал две сцены, которыми я дорожила («Ерунда! Мхатовщина! Никому не...»), и запретил мне ходить на репетиции («Лишнее! Помешаешь! Нужен полет фантазии, сотворчество, каждый актер должен быть...»), и категорическим жестом отправил меня за дверь. (Мне бы воспринять это все как первый предупреждающий сигнал об опасности профессии, к которой тянулась моя неискушенная душа, да где там!)

Нечто, слегка напоминающее сочиненную мною пьесу, я увидела уже

на спектакле. Робко заимствованные мною приемы были усилены и расцвечены акробатикой; мой герой во время предельно лаконичного объяснения с героиней прошелся вокруг нее колесом, а затем они оба (взаимная любовь!) синхронно укатили таким же манером за кулису; кто-то выбежал из глубины зала, промчался по проходу, расталкивая студентов, которым не хватило мест, и могучим прыжком взлетел на сцену, а сверху опустился на тросах большой треугольник, оклеенный цветной бумагой, с дырой посередине, в которую по очереди просовывали головы действующие лица, выкрикивая свои реплики... Я начисто забыла все остальное и даже о чем была пьеса, но эти несколько штрихов постановки до сих пор стоят перед глазами.

В зале веселились, иногда рукоплескали (в том числе и способом, каким влюбленные покинули сцену), во время сложных акробатических трюков студентки взвизгивали, а потом кричали: «Молодец, Леша!» Профессора и преподаватели, сидевшие в первых рядах, смущенно улыбались, но тоже хлопали — кончиками пальцев по ладоням. После спектакля оваций не было, да я и не знала, что в случае большого успеха кричат «автора! автора!», — мне еще не довелось бывать на премьерах. Сидя в углу зала, куда я поначалу забилась со страху, я развлекалась вместе со всеми, иногда удивлялась («Неужели это получилось из моей пьесы?»), а в общем-то немного гордилась — какой кавардак породила!

Публика уже покидала зал, и я вместе со всеми, но режиссер вдруг вспомнил, что «вначале было слово», вытребовал меня в комнату, где разгримировывались актеры и толпились институтские руководители, при всех шумно объявил, что вот оно, молодое дарование, «которое обязательно нужно разви...», и приказал мне послезавтра вечером прийти в студию Самодеятельного театра на Стремянную, 10, где в «среде, причастной к самому передово...», я получу то, «без чего дарование не...».

Узловая станция почти прекратила движение. Один-единственный скорый поезд был нацелен на Стремянную, 10, в студию Самоде...

Студия Самодеятельного театра была одной из студий, которых так много возникало в те годы. В атмосфере смелых исканий, неутихающих споров и свободного, порою дерзкого соревнования направлений молодые и даже совсем не молодые режиссеры со своими единомышленниками — актерами или тянущимися к театру любителями — объединялись, чтобы создать лучший на свете театр, всеми правдами и неправдами отвоевывали какое-нибудь помещение, провозглашали наинovou программу и начинали репетировать облюбованную пьесу, еще не имея ни денег, ни

костюмов, ни оборудования сцены, ни заинтересованных зрителей, но веря, что всего добьются. Иногда такая студия закреплялась и превращалась в театр, иногда, поставив два-три спектакля, распадалась, но и ее исчезновение с афиш не было бесследным — даже недолгая жизнь такой творческой ячейки выявляла хоть один, Два, а то и больше талантов — актерских или режиссерских. А это уже немало. В общем развитии молодого послереволюционного искусства сами неудачи были плодотворны, потому что от неудач и ошибок отталкиваются, чтобы их не повторить, а без кипения мыслей и страстей, без столкновения точек зрения не рождаются и крупные удачи.

Уже в наши дни, работая над этими страницами, я попыталась разыскать в Театральном музее хоть какие-то следы Самодеятельного театра. Но в музее почти не оказалось материалов, уточняющих беспокойные театральные события двадцатых годов, сохранившиеся газеты и журналы того времени ничего не сообщили мне о студии, которая меня интересовала, разве что намек на студию Шимановского, а может быть, Морозова на Стремянной, но тремя годами позже. Они не запечатлели и спектакля, оставившего у меня сильное и яркое воспоминание, спектакля, называвшегося «Квадрат 36». Действие пьесы происходило во время войны внутри подводной лодки, поврежденной взрывом и затонувшей; всплыть лодка не может, команда обречена, но если открыть кингстон, силою рванувшегося наружу воздуха одного или двух человек может выбросить на поверхность моря. Вероятно, была и какая-то возможность исправить повреждение, если на работы хватит сил и времени, пока есть чем дышать. Подробности забылись, но в памяти осталась борьба матросов возле кингстона, острейшая психологическая коллизия, ошеломившая меня настолько, что много ночей подряд она мне снилась и я просыпалась в ледяном поту еженощно в одну и ту же минуту — когда, подавив желание спастись за счет товарищей, начинала хрипеть от удушья...

Чья это была пьеса? Чья постановка? Кто были актеры, так сильно ее сыгравшие?

Так же как на «Эугене несчастном» Толлера, захватывала и сама близость «Квадрата 36» к недавним событиям, пусть не пережитым, но понятным моему поколению. Казалось, в студии я научусь чему-то важному и потом смогу сама написать пьесу о наших днях, нужную людям, волнующую их не меньше, чем взволновали меня два часа, как бы прожитые на дне морском в душной коробке затонувшей лодки. Однако литературных занятий в студии не было и с драматургией на репетициях обращались так вольно, что в пору было вообще отказаться от надежды

приобщиться к ней. Впрочем, увлекала возможность приходить вечерами в небольшой, бедно обставленный зал, приглядываться к людям, которые были тут *своими* и держались непринужденно, наблюдать репетиции, совсем не похожие на те поспешные («Ты вбегаешь отсюда, а ты стоишь вот тут»), которые мне доводилось вести; два-три актера, а иногда всего один актер, отрабатывали какой-то крохотный эпизод, по многу раз повторяя его с малозаметными изменениями, а кто-либо из режиссеров сидел в зале и морщился, кричал: «Не то!» — иногда сам поднимался на сцену и показывал движение или произносил те же реплики — вроде бы так же, да не так, а неуловимо лучше.

Мой режиссер был здесь отнюдь не главным, но, пожалуй, самым шумным, бросающимся в глаза. Когда я впервые со страхом переступила порог зала, он меня встретил победным возгласом, схватил за плечи и повел знакомиться со множеством людей, называя всех так быстро и громко, что я никого не запомнила, да и меня вряд ли запомнили. Пожав мне руку, все продолжали заниматься своими делами, разговорами, шутками, а то и явным ничегонеделанием: сидит человек в ряду стульев, и смотрит в потолок, и о чем-то своем размышляет, а может, и не размышляет, а просто так, захотел посидеть — и сидит...

Однажды мне сказали, что на Литейном, 49 будет читка новой пьесы о Карле Марксе и я могу туда пойти, а захочу — принять участие в обсуждении. Вот оно, думала я, конечно, обсуждать я не решусь, но сколько полезного услышу!

Скучный оказался вечер. Маленький толстый драматург с сидящими волосиками взлет вокруг обширной лысины читал тихо и монотонно, к тому же очень долго, время от времени он отрывался от рукописи, чтобы глотнуть воды, и оглядывал слушателей беспомощным близоруким взглядом. Я сидела у двери и почти ничего не понимала, так как не умела воспринимать пьесы на слух, не улавливала, кто что говорит и что происходит. В небольшой комнате было тесно, потом становилось все свободней, мне тоже захотелось уйти, но удерживало предстоящее обсуждение. Когда оно наконец началось, стало еще скучней — люди выступали нехотя и говорили так туманно и красиво, как говорят только в тех случаях, когда говорить правду неудобно или незачем. Я с удовольствием убежала домой, хотя и жалела маленького толстяка, которого постеснялись обидеть, но разве дипломатическое пустословие не более обидно, чем жесткая правда?

А у меня начала шевелиться в голове пьеса, где героиней была моя институтская подруга, казачка Люба. Обмолвилась она однажды, что

поехала учиться против воли родителей, они собирались выдать ее замуж в соседнюю станицу. Ничего больше Люба не рассказала, но воображение у меня заработало, и постепенно сложилась целая история с резкими объяснениями, бегством и даже попыткой убийства из ревности — жених из соседней станицы хотел убить курсанта, которого Люба выдавала за своего мужа, «чтобы парни не липли». Как обычно со мною бывало, я вскоре сама запуталась, где правда, а где выдумка.

На мою беду, один из институтских драмкружковцев, студент старшего курса, вдруг проявил внимание к моей особе, расспросил, как живу, как учусь, не нужно ли мне помочь и с кем я дружу, а потом начал подробно выпрашивать, кто такая Люба, откуда и прочее. Конечно, я догадалась, что Люба ему нравится, и не пожалела добрых слов для ее характеристики, а затем, радуясь внимательному слушателю, красочно пересказала историю, постепенно сложившуюся в моем воображении. Как он с Любой познакомился, не знаю, но их стали часто видеть вместе. Прошел, наверно, месяц, и вдруг Люба налетела на меня, гневно сверкая черными очами и не выбирая выражений — я оказалась гнусной Сплетницей лгуньей и даже интриганкой, пытавшейся рассорить ее с «одним человеком»... Слушать мои объяснения она не хотела, да и мне было трудно объяснить ей, как все получилось. Вскоре она вышла замуж за своего «одного человека», так что мои выдумки, к счастью, их не рассорили.

В те дни, когда я горько переживала вину перед Любой, кончилась для меня и студия. Пришла я туда вечером, надеясь рассказать моему режиссеру о замысле пьесы, а может, и о том, как подвело меня воображение. Но «моего» режиссера не было, репетиции на сцене тоже не было, хотя в полутемном зале все же собралось человек сорок студийцев и завсегдаев. Сидели маленькими группками, переговаривались и смеялись чему-то, за моей спиной две девицы декламировали исступленными голосами: «Зацелуйте меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикарю!» — и томно поглядывали вокруг (в поисках дикарей?); несколько студийцев вполголоса, но слаженно пели модное танго «Под знойным небом Аргентины», а высокий парень и маленькая девушка в черных чулках и слишком короткой юбочке не то танцевали в проходе, не то выполняли акробатический номер, перед которым не только наше с Лелькой танго на кухне, но и танго Франчески Гааль выглядело бы пресным. Я терпеливо ждала своего режиссера, но он так и не появился, зато ко мне подошел другой, пугающе кудлатый, сказал, что давно заметил меня, сжал мой локоть огромной ручищей и пригласил через полчаса, когда он освободится, пойти в ресторан «поужинать и поговорить об искусстве». Я

не посмела отказаться — под каким предлогом откажешься, если зовут поговорить об искусстве?.. Но как только кто-то позвал его и он пошел на сцену, многозначительно шепнув мне: «Через полчаса удираем», я опрометью бросилась в раздевалку, схватила свое пальто и успокоилась только в трамвае. Больше я в студию не ходила, боясь кудлатого.

Впрочем, и без того все замерло на станции. Начались зачеты.

Одна неделя

Она началась предвкушением праздника.

С тех пор как Лелька вышла замуж, театральные набегі зайцем кончились; с Палькой ходить было сложно, он и тут любил шикнуть — билеты в первые ряды партера, туда и обратно на извозчике, да еще в театре норовил затянуть в буфет. Зато мама, переехав в Питер, отмахнула все старые привычки и с удовольствием ходила на самые дешевые места, на галерку так на галерку! Питались мы кое-как, но от театров не отказывались. В тот день у нас были билеты на премьеру «Черной пантеры» — не знаю, чья это пьеса и о чем, не помню, чтобы она позднее где-нибудь шла, а если бы и шла, никогда бы меня не потянуло на нее...

Морозы держались жуткие, ни одной такой лютой зимы потом не было до первой блокадной, когда осажденный Ленинград коченел от тридцатиградусных морозов, длившихся и длившихся без передышки. Та давняя зима началась мягко — то морозец, то оттепель, — набирала силу исподволь, а в январе ударила — тридцать градусов, тридцать пять, ночами и под сорок.

В тот вечер мела метель, мама прибежала с урока облепленная снегом, но, как всегда, неунывающая, заторопила меня — скорей одевайся, опоздаем! Теплых пальто у нас не водилось, но не лишаться же театра из-за такой малости!

Мы вышли на улицу — а улицы будто и не было, в белой крутящейся мгле пропали дома и тротуары, только изредка тускло светящимися призраками проплывали битком набитые трамваи да на повороте с Кирочной на улицу Восстания чуть просверкивали высекаемые бугелем искры. Во время снегопада мороз обычно слабеет, но в тот вечер он, кажется, еще усилился, каждая снежинка, ударяя в лицо, обжигала кожу, ледяной ветер не давал дышать. Мерзнуть на остановке в ожидании трамвая с риском не пробиться в него? Идти пешком?..

— Эх, кутить так кутить! — залихватски крикнула мама и рванула

меня к темному силуэту, надвигавшемуся из снежной круговерти. — Извозчик! — перекрывая свист ветра, кричала она. — Извозчик!

Теперь и я разглядела добела обиндевшую лошадку, нахохлившегося возницу и пухлый сугроб на месте, где должны быть сани.

Возница оживился, слез с облучка и кое-как сбил снег с саней, протряхнул старенькую медвежью полость, заправил ее над нашими коленями и, взгромоздившись на свое сиденье, прицокнул на лошадку. Бедняга так закоченела, что рванула с места и затрусилась быстрее, чем позволяли ее годы.

Жмурясь и грея руки под мышками, открытые до пояса лютованию ветра и снега, мы все же радовались — едем! А там все будет прекрасно: тепло, сиянье люстр, множество принарядившихся людей — и праздник, праздник общения с искусством.

Глух и безлюден был подъезд театра. Неужели опоздали?

Одинокий фонарь, закрытая дверь, белый лист с черной каймой и черными буквами, уже припорошенными снегом:

«Сегодня в 6 часов 50 минут... скончался... Владимир Ильич Ленин...»

Скончался...

Ничего не было вокруг, только завывал ветер, швыряя в лицо колючий снег.

Извозчик уже уехал, мы молча пошли обратно, то и дело застревая в наметах снега. Иногда останавливались совсем, потому что не понять было, где мы и куда нужно идти. Иногда забредали в неведомую парадную на неведомой улице, чтобы отдышаться. Где-то у Невского нам удалось втиснуться в трамвай, как всегда переполненный, но до ужаса молчаливый — ни всегдашних перебранок, ни шуток, даже толкотня необычная: нужно человеку выходить, он скользит боком и тихо приговаривает: «Пропустите, товарищи» — и люди поджимаются без слов, пропуская. Знают. Вгляделась — лица строгие, замкнутые. Первые часы, когда каждый переживает про себя ошеломляющую весть и думает, думает...

У нашего дома возились со стремянкой дворники. Один из них полез наверх, в его руке вдруг размоталось и рванулось по ветру красное полотнище с черной каймой.

Долго поднимались на свой шестой этаж. Мама неуверенно сказала:

— Что же делать, Верушка, он так болел.

Невозможно было говорить об этом. Да, болел, все знали — тяжело болел. На любом собрании из зала летели записки с одним и тем же вопросом: как здоровье Владимира Ильича? Некоторые докладчики отвечали озабоченно, другие бодро — живет в Горках, поправляется,

понемногу читает, начал заниматься делами. Хотелось верить самым бодрым. Основным чувством сквозь тревогу была надежда... Что это такое — надежда? Признак слабости или признак силы? Наверно, и то и другое. Но как может жить даже очень сильный человек, если откажется от надежд?.. Какой невыносимо сухой и скучной будет душа, изгнавшая надежды?!

Когда мы вошли в квартиру, в переднюю выглянула одна из хозяек.

Две сестры, две бывшие барыни, издавна владели этой большой шестикомнатной квартирой, но теперь были вынуждены сдавать смежные комнаты, «пока никого не вселили». Одна из сестер, дородная, с гордой осанкой, когда-то, видимо, красавица, хозяйничала на кухне в лайковых перчатках до локтей, оттопыривала мизинец, когда чистила картошку, обо всем говорила раздраженно и вообще была явно оскорблена самим фактом революции; ее сын, то ли кончавший, то ли уже окончивший институт, был так же красив и весьма самоуверен, меня старался не замечать, а если мы сталкивались в коридоре, здоровался пренебрежительно, еле разжимая губы: сдали комнаты интеллигентной даме, музыкантше, кто мог подумать, что ее дочь окажется комсомолкой! — еще одно оскорбление, нанесенное их дому революцией. Старшая из сестер, занимавшая в семье несколько подчиненное положение, была симпатичней, любила поговорить и с мамой, и со мной, запросто мыла полы и с кошелкой у локтя ходила в магазины и на рынок за продуктами — она смирилась с фактом революции и старалась приспособиться к непривычным условиям жизни.

Так вот, встретила нас Оскорбленная.

— Что это вы вернулись? Из-за погоды?

Мама сказала:

— Умер Ленин.

— Слава тебе господи! — воскликнула Оскорбленная. — Но неужели из-за этого отменили спектакли?

Гнев застлал мне глаза, сквозь яростную темноту проступило вскинувшееся навстречу, наглое и все же испуганное лицо. Ничего, кроме него, я не видела и прямо в это лицо прокричала все слова, какие рвались наружу.

У себя в комнате я разревелась от обиды, что кто-то может, кто-то смеет!.. Еще не знала, что смерть как бы провела резкую черту между миллионами людей, охваченных скорбью, и теми, у кого она вызывает злорадство и мечты о крушении революционного государства, созданного Лениным.

Ночью, поплотней укрывшись от студеного дыхания, струившегося в

оконные щели, я думала о Ленине, которого так и не увидела и уже не увижу. Необходимый как никто другой, он прожил всего пятьдесят три года. Почему?! Вспоминалось все, что я знала о его целеустремленной жизни. С детского возраста, со дня казни брата Саши, — неутомимая, непрекращающаяся работа мысли и неумная энергия *действия* на избранном пути. Я физически чувствовала напряжение его мозга, его нервов, его энергии, и как он совсем не щадил себя, и как он день за днем в условиях трехлетней войны и первоначального революционного строительства должен был как можно быстрее находить десятки решений в вопросах, которые никогда и никем еще не решались, потому что все, чем он руководил, было *впервые*. Я чувствовала его усталость и как он эту усталость преодолевал, потому что отдыхать не было времени, и, кажется, чувствовала, как подкрадывается к нему болезнь, мстя за перенапряжение всех сил организма... и умирала вместе с ним — до реальности ясно. Позднее мне не раз случалось силой воображения вызывать у себя такое состояние — иначе не напишешь. Но в ту ночь ощущение смерти пришло само, впервые и так меня напугало, что я зажгла свет и долго сидела, завернувшись в одеяло, стараясь понять, что же это такое — вот это физическое ощущение угасания, иссякания жизненных сил.

Утром я спозаранок побежала в институт — на люди. И на улицах, и в институте было тихо. В одной из аудитории сидел тот самый сидящий человек, с которым я недавно повстречалась у декана. Вокруг него тесно сбились студенты, подходили все новые и новые, я тоже кое-как примостилась поближе; это не было ни собранием, ни лекцией, людям нужно было услышать душевное слово, и человек, который мог его сказать, говорил и говорил, обращаясь заново к тем, кто только что вошел, и, наверно, для них повторяя уже сказанное. Он не произносил никаких призывных слов, но из всего, что он говорил негромким глуховатым голосом, возникало в наших молодых душах чувство взрослой ответственности за то, как будем жить дальше.

Я по-прежнему не знала, кто он, и не до расспросов было, но рассказывал он о Ленине очень попросту: как Ленин слушал других, мгновенно откликаясь на верное суждение и азартно вскидываясь, если суждение было неверным, как Ленин выступал, вовсе не заботясь о своем престиже вождя, думая только о деле, о том, чтобы его поняли, чтобы приняли нужное решение, избежали ошибки... Так мог рассказывать человек, который не раз видел, слышал, наблюдал Ленина в работе, на съездах. И любил его, и потому сейчас при всем умении владеть собой темен от горя.

— Ленин будет жить, пока мы с вами будем продолжать и беречь созданное им.

Эти слова намечали выход из растерянности, из непоправимости беды. Если б он еще подсказал, что именно делать нам, мне не вообще, не когда-то потом, когда доучимся, а вот сегодня, сейчас!

Дома было пусто, мама пошла по урокам. На моем рабочем столике стояла давняя фотография Ленина — лобастая голова, умнющие, слегка прищуренные глаза, сильные и добрые губы. Мысль и энергия. Мысль и воля... «Ленин будет жить, пока мы...» Само собой начало складываться стихотворение. Может, это и есть то, что я могу сделать сегодня, сейчас?.. Писала, перечеркивала, искала слова, рифмы... Потом тщательно переписала и побежала в «Ленинградскую правду». В редакции было много народу, но, как и везде в этот день, стояла тишина, нарушаемая только деловыми вопросами и ответами. Люди сдавали отклики, резолюции траурных собраний, стихи. Я тоже без лишних слов отдала свое стихотворение вышла на улицу и, чуть не задохнувшись от колкого мороза, все же побрела по городу, по скованному молчанием городу, по его стылым, заснеженным проспектам в красных с черной каймой флагах и вглядывалась в каждого встречного человека: ну как ты, как *мы* теперь будем? — и встречала тот же безмолвный вопрос, устремленный навстречу — не мне, всем.

Да, было тревожное раздумье — как оно пойдет без Ленина, и было горе, простое человеческое горе. Не такое отчаянное, вздох, до одури, как при личной утрате очень близкого человека, когда кажется — легче самому в могилу. Нет, это было другое горе, оно вошло в души с чувством всеобщности, оно не замыкало в себе, а вздымало души до высот вселенских, потому что потеряли человека, который бесстрашно руководил самым крутым поворотом человеческой истории и сочетал в себе острый ум мыслителя с революционным вдохновением и организаторским трудолюбием. Русский интеллигент в самом лучшем, высоком смысле слова, он был отчаянно, до конца смел в анализе и выводах, размахист в деяниях, он верил в людей и любил их, у него было удивительное умение видеть и большие массы людей с их бедами, нуждами и стремлениями и в массе — отдельного человека; выделив способного человека, раскрыть в нем его силы и доверить ему то, что другой доверить не решился бы. Вокруг него быстро росли и набирались самостоятельности самые рядовые люди. Он был активно добр, но бывал и беспощаден — к врагам, не от жестокости характера, а потому что знал — иначе нельзя, враги пока что намного сильнее, прояви мягкость — и они задушат революцию, потопят

ее в крови. Он ничего не искал для себя и сил своих не щадил совершенно, лишь бы утвердить на земном шаре первое социалистическое государство. Он мечтал об этом с юности, он с юности был готов ради воплощения этой мечты отдать свою жизнь. И отдал.

За десятилетия, прошедшие с тех январских дней, я пережила немало горя и немало радости и не хочу сравнивать — каждое горе, как и каждая радость, неповторимо, — но хочу сказать, что накрепко узнала, каким смягчающим теплом насыщено самое горькое личное переживание, когда оно же — частица всеобщего, всенародного, тут твоя боль слита с ощущением родины и истории, и с общей заботой, и с общим напряжением, и плечо стоящего рядом не чужое, дружеское плечо, и нет чужих лиц, и нет чужих глаз. Чувство разделенное, пережитое вместе со множеством людей, — всегда ступенька духовного возмужания.

Разве забудется такое: черный круг уличного репродуктора и сдержанно-молчаливая толпа вокруг него — ожидание, ожидание, ожидание... и наконец низкий голос Левитана: «После многодневных тяжелых боев... наши войска оставили...» Смоленск. Киев. Одесса. Севастополь (Севастополь!). Ростов... Что еще? «Отражая непрерывные атаки превосходящих сил противника...» Стоишь, обмирая, и прерывистое дыхание незнакомых людей, стоящих рядом перед тобой и сзади, оно и твое дыхание... Если душа может обрести крепость металла, то именно в такие минуты.

До крепости металла прокаливались души, когда хоронили Ленина.

В тот студёный день 27 января не только в Москве — по всем городам и селениям выходили на улицы, преклоняя траурные знамена, миллионы людей. Ледышками скатывались по щекам слезы, смерзались ресницы, и дыхание каждого соединялось с дыханием других в плотное облако пара, клубившееся над колоннами. А в минуты, когда саркофаг с телом Ленина устанавливали на помосте в специально построенном деревянном мавзолее на Красной площади, не только в Москве — по всей огромной стране все замерло, остановились машины, поезда, корабли и люди и только гудели, протяжно и горестно гудели гудки — казалось, над всем земным шаром будто из миллионов грудей рвался долгий стон.

Один человек может отдаться горю, на какое-то время, оцепенев, выключиться из жизни. Страна — не может. Руководящая партия — не имеет права.

На траурном заседании II Всесоюзного съезда Советов прозвучала Клятва Ленину, произнесенная от имени партии и народа И. В. Сталиным.

Отточенная, четко определившая главные задачи времени, эта речь бодрила, как глоток воды — пересохшее горло. Это был возврат к жизни, к труду, к борьбе, к надежде. Именно эти слова были необходимы миллионам тружеников и у нас, и за рубежами страны — и они были сказаны.

Вспоминаешь те дни и многие другие дни и годы — и думаешь, думаешь... Куда денешься от раздумий, если ты не баюкался в тихой заводи, но плыл по стремнине жизни, а на стремнине были и первые пятилетки, и война, и разгром фашизма. И утраты, утраты — священные, в боях, и те, другие, которые ничем нельзя оправдать и бессовестно забывать. Что было, то было. И великое, и трагическое, и страшное.

Но я забегаю вперед, все то было потом, потом... А в те шесть дней расставания с Лениным мы, юные, сразу повзрослели, тяжесть Клятвы ложилась и на наши плечи.

Передо мною на стене прямо над портретом Ленина была приколата как лозунг полоска бумаги со словами Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!» (уж не знаю, в старом ли переводе вместо «готов» было «идет», или я так записала по памяти, потому что «идет» звучало активней). И вот я смотрела то в умнющие, слегка прищуренные глаза Ленина, то на этот лозунг, выбранный мною еще в Мурманске для себя, — как же мне идти на бой? куда? где нужны мои силы — сегодня, сейчас?

Скажут — учиться. Да, это и Ленин сказал молодежи — учиться, учиться и учиться. Хорошо, буду учиться как черт, никаких поблажек! Засяду за Ленина, за Маркса, начну изучать историю — не по институтской программе, а подробней, обстоятельней, ведь ничего толком не знаю, одни жалкие разрозненные обрывки!.. И буду много читать и перечитывать самые любимые книги, *вникая*, как они написаны, чем достигает писатель такой силы воздействия... Но что же все-таки *делать*? Идти на бой — куда, как?!

В Клятве Ленину, которую я мысленно приняла вместе с сотнями тысяч, а может быть и миллионами советских людей, меня особенно волновала последняя часть о международной солидарности трудящихся в борьбе с угнетателями и в защите нашей республики Советов. Так оно и было — пока Красная Армия и народ яростно бились в круговую, в Англии, во Франции, в Америке все решительней звучало: «Руки прочь от революционной России!» — и грузчики отказывались грузить боевое снаряжение для интервентов и белых армий, моряки отказывались его перевозить, солдаты не хотели воевать... и интервентам пришлось уйти. Это я видела на Мурмане — как они поспешно грузились и отплывали

прочь от нашего берега. Да, рабочие многих стран помогли нам выстоять. Но и мы, еще нищие, полуголодные, мы тоже помогаем им и всем угнетенным, где бы они ни были. Самим фактом своего существования — без буржуев и помещиков. Мы для них опора и надежда, маяк, указывающий путь к освобождению. А если нужно будет помочь в их борьбе, разве мы не ринемся на помощь? Разве есть у нас цель выше и прекраснее этой — освобождение всех эксплуатируемых, угнетенных, обездоленных не в одной стране, а на всем земном шаре?!

Первое послереволюционное поколение, мы с этой мечтой росли, она была такой желанной, что бросало в дрожь, — начать бы! Принять участие в разворачивающейся борьбе в подполье, на баррикадах — где понадобится! Мы родились слишком поздно для борьбы с царизмом, для революции, мы опоздали на фронты против беляков и интервентов, но этот бой — наш?! И если придется отдать жизнь — разве пожалеем?!

Собственное тело было таким несомненно живым, здоровым, неотъемлемым, что сердце замирало, — его не будет? Совсем? Пробитое пулей, или порубанное шашкой, или разорванное снарядом — перестанет существовать?.. И всего, чего ждешь от жизни — любви, труда, дружбы, — уже не будет?.. Не будет. И все-таки, если придется...

Говорить об этом между собой не говорили, получилось бы выпендрено и даже нескромно, друзья вмиг разыграли бы, высмеяли: скажи пожалуйста, «отдает жизнь»! Твоя жизнь — и мировая революция, несоразмерно, дорогой товарищ!

Не говорили вслух, но тем жарче мечталось наедине с собой. До зримости ясно виделся земной шар, который надо освободить и привести в разумный вид, этот несчастный земной шар, где столько нищеты и горя, несправедливости, войн, хищной эксплуатации и беспросветного подневольного труда. Все, что я вычитала у писателей разных стран, промелькнувшие в газетах факты и даже сухие, но леденящие цифры («...средняя продолжительность жизни — 31 год», «...три четверти детей умирает до пяти лет», «...два с половиной миллиона безработных»), все оживало в воображении и заполняло эту шарообразную географическую карту отчетливыми картинками. Изможденные докеры вереницей сбегают по шатучим мосткам, согнувшись под увесистыми тюками, их качает, груз вот-вот придавит, столкнет в воду... Озверелая толпа здоровущих молодцов избивает негра, он силится прикрыть руками глаза на разбитом в кровь лице... Китайка носит и носит на коромысле плоские корзины с землей, а к спине прибинтован совсем маленький ребенок (наверно, искривляется позвоночник?)... Рикша, натужно дыша, изо всех сил тянет коляску с

седоком, а седок погоняет стеком — быстрее, быстрее!.. Соляные прииски — почти ни у кого из рабочих нет сапог, босые ноги скользят по белым пластам, соль разъедает кожу, каждая ссадинка — как рана... Рисовые плантации залиты водой, бредут по колено в воде люди-скелеты в широкополых шляпах, с рассвета до темноты в воде, мучительно сводит ноги, и ноют кости, и кашель разрывает грудь... Картина за картиной, картина за картиной — что ж это происходит на тебе, земной шар?! Как сделать жизнь на тебе счастливой для всех? Как дать свободу, кров, пищу всем обделенным? Как вывести на солнце, к достойной человеческой жизни всех, кто задыхается в вонючих трущобах? Как сокрушить навсегда нищие норы и смрадные углы, где угасают на глазах матерей мертвенно-бледные — ни кровиночки! — дети?..

Меня с детства жгло и мучало одно воспоминание — мучало много лет, пока я, работая над «Мужеством», не отдала его, перевернув, моей героине Тоне.

Мы жили тогда в Петербурге — значит, перед мировой войной, так что мне было лет шесть или чуть больше. Мама повезла нас в какой-то большой парк, день был холодный, но солнечный, мы долго гуляли, бегали взапуски, прыгали со скакалкой, и наконец нам понадобилось где-нибудь уединиться. Мама предложила — за кустики, мы отказались — стыдно, не маленькие. Нашли уборную «для дам». Низкое беленое здание возвещало о себе стойким запахом. Мама брезгливо повторяла: «Осторожно, ни к чему не прикасайтесь, тут кругом зараза!» По одной стене, разделенные перегородками, стояли в ряд стульчаки, по другой возле входа столик с тарелкой, в которой лежало несколько медных монет, и невысокая печурка, какая-то женщина как раз снимала с углей котелок с нечищенной картошкой, но, увидев нас, сунула котелок обратно и метнулась от нас к окошку, замазанному известкой, а там, под окошком... под окошком стояла широкая кровать, а на кровати сидели с ногами две девочки моих лет — чахленькие девочки с призрачно-серыми лицами; был с ними и мальчик постарше, но мальчика я не разглядела, он сразу нырнул лицом в подушку, а женщина торопливо прикрыла его с головой лоскутным одеялом. «Вы не беспокойтесь, он не смотрит», — пробормотала она маме.

Мы уже уходили, мама уже положила в тарелку с медяками еще один, а я все смотрела на серолицых девочек и на сжавшегося под одеялом мальчика: они — здесь — живут? Спят? Едят?..

Вечером, укладываясь в белую кроватку, я расплакалась и никак не могла объяснить маме почему.

Это жгучее воспоминание ожило и меркнувшим пятнышком проплыло

за другими видениями по шарообразной географической карте. Конечно, революция вывела на солнце, на чистый воздух тех трех ребят, если они дожили... Но сколько еще на свете таких же смрадных углов и немислимых судеб?

В моем воображении медленно проворачивался земной шар, весь в черных пятнах человеческих страданий. Нет, не весь! — пусть у нас пока и голодно, и трудно, но уже строится новая жизнь — не для кучки богачей, для всех. Вот она, Страна Советов, размахнулась почти на целое полушарие, от Тихого океана до Балтики. Шестая часть мира. Это все-таки очень здорово — шестая часть мира! И на ней — красная мерцающая точка, город, где все началось, где Ленин сплывал первые группки революционных рабочих, где он руководил Октябрьским вооруженным восстанием, где по ленинскому плану *народ* взял власть в свои руки. Ленин-град.

Новое имя города хотелось повторять и повторять. Ленин-град!

Сорок пять минут на решение

Юность, юность, возвращаясь к тебе, в трепетный мир ожиданий, я вновь подпадаю под власть твоего беспокойного духа, самого животворного из всего, чем ты богата. Я сатанею от нетерпения, хохочу, отчаиваюсь, злюсь на себя, с замиранием сердца предвкушаю... предвкушаю то, что давно осуществилось или не осуществилось, но с годами перестало волновать. Я разматываю нить времени среди написанных вразброс страниц и наплывающих подсказок памяти, заново проживая ту давнюю пору, — ведь не только болеешь и умираешь вместе со своим героем, но и радуешься с ним, когда ему хорошо (пусть в это же время тебе живется невесело), обманываешься, когда он обманулся, и счастлив бываешь до полного самозабвения, когда герой счастлив... Такова подоснова профессии. Если у начинающего писать нет способности переключаться и проживать чужие жизни до осязаемости, до самозабвения — значит, не его это профессия и где-то рядом есть другая, пока не опознанная, в которой он найдет самого себя. Литературный труд — жестокий труд, человек этого труда сгорает десятки раз в десятках чужих судеб и восстает снова, чтобы, переведя дух, погрузиться в водоворот других судеб и событий.

Теперь мне и легче, и трудней. Легче потому, что рассказ вроде бы о своей жизни и эту мятущуюся девчонку я неплохо знаю. Трудно — потому

что хочется через нее рассказать о времени и людях той поры, рассказать правдиво, без прикрас, а пора окутана романтической дымкой юности — двух юностей, ведь и революция была очень молода. Трудно и потому, что форма повествования все же близка к роману, это наиболее мне свойственно, а герои не созданы мною (в итоге сложного процесса наблюдений, обобщения и типизации, как в романе), они реально существовали, и нужно сдерживать воображение, которое так и норовит вмешаться, все завернуть поинтересней, покруче сгустить события и домыслить в характерах и судьбах то, что девчонка знать не могла и понять не сумела бы. Конечно, мудрый змий нажитого опыта никуда деваться не может, но давать ему волю опасно, он лишь присутствует на втором плане да иногда, отстранив девчонку с ее метаниями и обольщениями, позволяет себе поразмышлять не торопясь. Ну хотя бы о том, что же она такое — юность, и что ей нужно, и чем она счастлива или несчастлива.

Сколько человеческих поколений борется, страдает, не щадит себя ради счастья своих детей! Ну а что это такое, счастье детей?

Иногда думают, что материальный достаток, обилие одежды, пищи и развлечений, оно и есть то, «за что боролись», — достигнутое счастье детей. А дети, подрастая, ничего этого не ценят, хотя привычно принимают. Они мечутся, грубят старшим, связываются с дурными компаниями, у них нет света в глазах — и гаснет свет в глазах матерей. Их упрашивают учиться — они это делают кое-как, лишь бы отвязались. Поступить на работу? Они ищут «непыльную» и чтоб досуга побольше. Досуга много, а занять его нечем. Ну и глушат его чем придется, иногда до потери себя. Я преувеличиваю? Нет. Есть и совсем другие? Да, их много, я ненавижу стариковское брюзжание — дескать, молодежь нынче не та, вот в наше время... Вздор! И в «наше время» молодежь была всякая, отнюдь не только передовая (кстати, отрицаю сам термин «наше время» — для меня и сейчас время мое, наше). Суть проблемы в том, что найти себя, найти свое счастье для очень юного человека не просто.

Попробуем приглядеться к совсем маленьким детям. Они обаятельно открыты для улыбки и радости, они доброжелательно-доверчивы и тянутся к каждому человеку, если он добр (а доброту и любовь к ним дети чувствуют безошибочней взрослых!). Но и в грош они не ставят тех, кто с ними *только* добр, то есть безгранично потакает им. Малыш любит заведенный порядок: оставшись на вечер с таким маленьким педантом, попробуйте повести его умываться до того, как он снял костюмчик, если он привык мыться раздетым, попробуйте разрешить то, что мама и папа строжайше запрещают, — он воспользуется вашим попустительством, но

поглядите на его мордашку: ему *неудобно*, что он не удержался от соблазна, он сконфужен и в глубине души вас осуждает. В детском саду, если там мало-мальски хорошие воспитательницы, малыш легко подчиняется дисциплине и порядку, он склонен хвастаться — «а у нас...», он мирно спит положенное время, хотя дома бунтует против дневного сна. Человек — существо общественное; даже очень домашний ребенок быстро приучается жить сообща с группой сверстников и не менее быстро познает, что тут иные законы, чем дома, что тут он не пуп земли, не единственный на свете. Это ему полезно, но лишь до тех пор, пока он не ощутит давления на свою индивидуальность (не менее яркую оттого, что он еще мал!), пока он не столкнется с произволом неумного или раздраженного руководителя. Взгляните в глаза малышу, если с ним несправедливы, — какой изумленно-растерянный, остановившийся, почти взрослый взгляд!

Жизнь, конечно, учит, но разве не ясно, что с годами восприятие тех же самых отношений и давлений не притупляется, а становится острее?

Приглядимся к тому, что делает малыш, предоставленный самому себе. Раскидав дорогие игрушки и властной рукой уложив спать всех кукол подряд (чтоб не мешались в дело), малыш с упоением творца мастерит нечто понятное ему одному из кубиков, старых крышек в невесть откуда попавших к нему железяк; он потрошит любимую матерчатую собаку (она и после останется любимой), допытываясь, что и почему пищит у нее внутри; он долго и упрямо выковыривает механизм из заводной игрушки, а потом пытается запихнуть этот механизм в дырявого целлулоидного попугая или приладить его к обшарпанному грузовичку. Он полон инициативы и активности, малыш, он хочет делать *сам* и то, что *сам* придумал. Не мешайте ему в эти драгоценные минуты — они дороже любых уроков.

Насколько же мощней и томительней жажда самостоятельности и самоутверждения у юноши, чувствующего, что он уже на пороге взрослой жизни; шаг, еще шаг, порою резкий, через препятствие, — и он сам по себе, без поводырей и опеки. «Но что я *сам по себе*? Из многих путей какой путь *мой*? Что я могу? Где приложить все, что во мне заложено?»

Без этой беспокойной жажды познания самого себя и применения всего, на что ты, именно ты способен, без внутренней энергии самопроявления личности не было бы прогресса, не было бы открытий научных, географических, художественных — да никаких вообще! — не было бы музыки, и поэзии, и любви тоже не было бы — не животной, а человеческой, ищущей духовной близости и духовного взаимообогащения, открывающей мир во всем его очаровании.

Беспокойная жажда самопроявления ведет человека через всю жизнь, но в юности, когда духовные и физические силы особенно свежи и деятельны, а сам себя еще не понял и свои возможности не определил, она наиболее остра и тревожна.

Где бы и в чем бы ни искал человек счастья, находит он его именно в возможности полностью осуществить свои способности, в ощущении своей нужности людям; и она тем глубже и радостней, чем больше преодолено препятствий. Я в этом убеждалась много раз и убеждаюсь снова и снова, встречая молодых людей, нашедших себя в трудных и значительных делах, будь то участие в новостройке или научное исследование, внедрение новой технической идеи или работа над большой, требующей огромного мастерства актерской ролью.

Найти себя и свое место в жизни — вот главная задача юности, сознает ее юноша или не сознает, хочет быть полезным обществу или беспечно проживает день за днем. Хорошо, если он, пробуя силы, то тут, то там, не натворит неисправимых ошибок, если легкомыслие или слабохарактерность не затянет поиск надолго, — ведь годы не вернешь и свежие силы без применения вянут. Но как бы ни сложилось, юность — пора метаний и душевного непокоя.

Так было и со мною в тот год, остро захотелось что-то *делать* — немедленно, реально. Весной мне стукнуло восемнадцать. Восемнадцатилетие казалось катастрофой — до такого возраста дожила, а кто я? Где мое место в жизни?.. Порой побеждало легкомыслие, и я жила как живется, не отягощая голову самоанализом и самокритикой. Веселилась, делала глупости. Спыхватывалась, ругала себя — и снова металась в поисках самоопределения. Наваливалась на учебу, досрочно сдавала экзамены и контрольные работы, конспектировала Ленина и Маркса, запоем читала Толстого, Золя и Стендаля — и вдруг бросала книги недочитанными, бумажные закладки постепенно желтели, зажатые между страницами. Пыталась писать рассказы — и рвала исписанные тетрадки: плохо! *Приблизительно!* Что я знаю?

Перед каникулами поругалась в деканате, где меня как ленинградку хотели на все лето запрячь в работу по организации учебных кабинетов, соврала, что уезжаю в Карелию, а сама ушла на комсомольскую работу в Петроградский райком подменять отпускников и встала на временный комсомольский учет не на «Электрике» (очень-то нужно, чтобы Палька мною командовал!), а на пивоваренном заводе «Красная Бавария» — новое производство, новые впечатления! Лето проработала с увлечением, была счастлива, думала — уже не оторвусь, к черту институт, останусь на

Петроградской стороне, благо райкомовцы зовут. Но мама уж очень расстроилась, приехала из Тивдии Тамара, отругала: «Недоучкой останешься, кому ты будешь нужна?» И Палька говорил, что со второго курса уходить глупо, а Георгий, который сам готовился поступать в вуз, рассердился: «Неужели вы не понимаете, что через несколько лет работник без образования будет чем-то вроде ихтиозавра?» Через силу вернулась в институт и как-то сразу охладела ко всему, что увлекало, даже к кружку башибузуков на «Электрике», но и к учебе не пристрастилась, а начала писать стихи, просиживая над ними ночи напролет, пока не заработала острое воспаление глаз, так что пришлось неделю лежать в темноте.

Лежа в темноте, я думала с той неторопливостью, которую в наш век дает только болезнь — вынужденная остановка. Думала о том, что меня манит литературный труд и ничто другое, но есть ли у меня способности — кто скажет? Еще меня интересуют люди, самые разные, всякие — умные и ограниченные, добрые и злые, прекрасные и дурные, но всегда при встрече с новым человеком возникает вопрос: почему? Почему он такой, как он рос, как сложился его внутренний мир, что с ним будет дальше? И почти всегда хочется об этом новом человеке написать — значит, любопытство к людям входит в самую суть литераторского призвания... Еще я думала о Пальке — вот ведь любим друг друга, но все складывается трудно, непонятно и с каждым месяцем все больше запутывается... почему?.. И о Георгии думала — с интересом и потайной девичьей радостью. Приятельские отношения с этим своеобразным, совсем взрослым парнем, начавшиеся с первого дня знакомства на «Электрике», переросли в дружбу, слегка окрашенную нежностью, именно слегка, мне такие отношения очень нравились, они волновали и не требовали каких бы то ни было решений, а Георгий с высоты своего огромного роста и своих двадцати пяти лет смотрел на меня как на малышку. Однажды я прочитала ему свое дурацкое стихотворение (тогда оно казалось мне оригинальным), каждая строфа его кончалась рефреном: «Кровь! Кровь! Кровь!» Георгий выслушал и сказал:

— Кровавый карапуз.

Я обиделась до слез.

Отбросив всякую нежность, Георгий начал разбирать строку за строкой и доказал мне, что за многозначительным набором слов нет подлинного смысла, «вы пугаете, а мне не страшно», «вам хочется быть взрослой и свирепой?». Под конец я посмеивалась вместе с ним и без сожалений разорвала злосчастный листок, но «карапуз» еще долго саднил душу. Утешалась я тем, что многие другие мои стихи Георгий одобрял и даже прочил мне «будущее». Он и сам писал стихи, одно из них посвятил

мне, там были слова «мне нравится в вас детскость», я не знала, огорчаться или удовлетвориться тем, что дальше говорилось о женственности... Но главное — он любил поэзию, и мы часто читали вслух настоящих поэтов, многих из них я впервые для себя открывала — и мир поэзии, мир настоящего искусства распахивался передо мною все шире. Читал Георгий гораздо больше, чем я, и судил о литературе самостоятельней и строже, он не выносил суесловия и красивостей; «литература — это дело такое же, как другие, только более важное» — так он утверждал и требовал от новых стихов и романов, чтобы они были о самом жизненном, главном, а не пережевывали пустяки. В том, что он говорил, я узнавала свои мысли, только я не умела их так четко и даже беспощадно высказать. Вероятно, мы оба грешили некоторым рационализмом и слишком непосредственно связывали задачи искусства с задачами дня, но мы были детьми своего времени, вне революции и борьбы мыслить не умели. Впрочем, это не мешало нам ощущать глубинную красоту поэзии, только нам хотелось, чтобы она поднималась до бетховенских высот. Надо ли говорить, что прикосновение к настоящей поэзии заставило меня устыдиться собственного стихотворства?..

Приближалась новая весна, вместе с нею мое девятнадцатилетие. А я все еще ничего не решила! И вот однажды...

— Ольга Леонидовна, честно предупреждаю: скоро я вашу дочку уведу!

В последние недели Палька зачастил ко мне, был непривычно уступчив, охотно философствовал и шутил с мамой. Предупреждение было высказано тоже шутливо, а быстрые зеленые метнулись в мою сторону подобно солнечному зайчику.

Я выскочила из комнаты, чтобы не показать своей растерянности, и восторга, и страха. Выскочив, остановилась за дверью и услышала мамин вопрос:

— А Верушка согласна, чтобы ее увели?

И Палькин ответ:

— Не захочет — силой уведу. В бурку с головой да через седло!

Вот в такой дурашливой форме Палька предложил мне стать его женой — не когда-то через годы, по окончании учебы, а совсем скоро?.. Сердце стучало так громко, что казалось, и мама, и Палька могли бы услышать, если б не продолжали болтать, как ни странно, о чем-то другом. Или мама не поняла, что Палькины слова не шутка? Или Палька действительно шутил?

Когда я решилась вернуться, солнечные зайчики то и дело слепили мне

глаза, но разговоры шли самые обыкновенные, пили чай, потом мама демонстративно посмотрела на часы, и Палька собрался уходить. Обычно мы долго прощались в передней, а то и за дверь на холодной лестничной площадке, без непрошенных свидетелей, но сегодня мама тоже вышла в переднюю провожать Пальку и расставанье вышло коротким. Я уже гремела запорами, обильно оснащавшими дверь квартиры, когда Палька что есть силы закричал с лестницы:

— Ве-ра-а!

И лестница присоединилась к его зову —...ра-а-а! Все задвижки отлетели в сторону. Палька стоял этажом ниже, изогнувшись над перилами, и высматривал меня в узкий лестничный проем.

— Я не шутил! — крикнул он с победоносной улыбкой и побежал вниз вприпрыжку и даже посвистывая. Лестница гулко вторила его прыжкам и свисту, потом раскатисто продублировала хлопок парадной двери.

Эх, Палька-Пальчик, тебе бы сразу с лестницы «в бурку с головой да через седло»!

После первых часов упоения и надежд напоззли сомнения. День ото дня тревожней. Это и есть решение? Кто же я — человек со своим призванием или девчонка, ошалевшая от радости, что ее берут замуж?.. Как в романах прошлого века — томленья, идеалы, отстаиванье своей личности, а потом — хлоп! — замужество, героиня превратилась в преданную жену и мать, дальше писать не о чем. Точка.

Да, но ведь то было в XIX веке, при чем же здесь мы? Неужели мы, новые, свободные люди, не сумеем жить по-иному, помогая друг другу, а не мешая?!

Воображение рисовало картины дружной и независимой жизни двух равноправных людей — идеальные картины, где хоть какую-то конкретность обретала любовь, а все остальное выглядело таким отвлеченно-прекрасным, что туда никак не вписывался Палька с его трудным характером, да и я тоже, и некуда было пристроить наши постоянные — иной раз и не разберешь из-за чего! — затяжные ссоры. Вероятно, я сама была хороший перец, но винила Пальку — вечно он устраивает со мной какие-то эксперименты. Вот и с кружком заводских башибузуков... А с Георгием! Понимал же, что Георгий — парень на редкость привлекательный, все девушки обмирают, и нарочно сводил нас, поручения давал общие, а на праздничной вечеринке актива (сперва не хотел и звать на нее!) сам уселся во главе стола, две девчонки по бокам, а меня посадил рядом с Георгием на другом конце... Тоже испытывал на прочность? Зато теперь, застав у меня Георгия, неделю дуется.

А что получится, если мы будем вместе? Я совсем не влюблена в Георгия, но он мне нравится и я не хочу терять дружбу с ним, и разговоры о стихах, и открывание чудесных поэтов... А смогу я сохранить эту дружбу, когда Палька стихов не любит и по поводу наших чтений вслух только фыркает?.. Смогу я идти туда, куда вздумается, встречаться с самыми разными людьми, которые мне почему-либо интересны?.. А писать ночами, когда хочется писать, смогу?.. А просто бродить одной по городу и думать, о чем думается, смогу?.. А если не смогу — значит, действительно конец всему, точка?! И никакого писателя из меня не выйдет, все мои планы — девичьи бредни, птичье оперение?..

Горькие мысли прокручивались и прокручивались как заводные, и от них было тошно, потому что сквозь все сомнения и доводы пробивалось чувство, которому нет дела до рассуждений: хочу быть с ним, не могу отказаться от него, жду, жду, жду...

Настал день — третий или четвертый день ожидания Пальки, исчезнувшего для загадочности, — когда я отбросила все рассуждения и полностью доверилась любви. Почему-то он виделся таким, каким стоял на лестнице, изогнувшись над перилами, и высматривал меня в узкий лестничный проем. Озорной, желанный, ни на кого не похожий. С этими его солнечными зайчиками, с этой его улыбкой... Стоп! Победоносная у него была улыбка. *Победоносная!* Даже не сомневался, что я согласна. Осчастливил — и поскакал, посвистывая! А теперь медлит — пусть помяется.

Когда он наконец пришел, я начала читать ему стихи — одно за другим, из разных книжек. Видела, что он злится, и читала дальше. Пока он не прихлопнул ладонью очередной томик.

— Так что ты думаешь по поводу того, что я говорил?

— А что ты говорил?

— Ну, прошлый раз... при маме...

— Я, наверно, не расслышала. Что именно?

Минутное молчание — и беспечно:

— Да пустяки. Ничего серьезного.

Вот такой вышел разговор.

Я пишу эти строки в своей дачной рабочей комнатке — тишайший уголок на земле. За окном провисшие под навалами снега многопалые лапы сосен, белые разводы и сплетения обындевевших кленовых ветвей и тончайшая вязь березовых. После долгих оттепелей как-то вдруг настали крепкие январские морозы. Паровое не справляется с ними — на моей

верхотуре зябко. И, может быть, от холода, приходят сдерживающие, холодные мысли: что это я расписалась о любви и ее капризных благоглупостях? Какое же тут «о времени и людях»? Все я да я, я да он!..

Откладываю рукопись и выхожу скидывать снег с балкона. Балконная дверь с трудом открывается, тесня приваливший сугроб. Ох и воздух же сегодня! Как родниковая вода — чистый и леденящий зубы. Снегу полно, поверху он легкий, пушистый, обильно насыпанный за ночь, понизу тяжелый, слежавшийся, много сразу и не подцепишь лопатой (так мне и надо, лентяйке, вовремя не сбросила!). Под валенками скрип-скрип. И слышно, как потрескивают окоченевшие доски балконного настила. А в лесу за забором изредка как хлопок выстрела — трещит от мороза дерево.

Так что же — занесло меня в личное, в частное? Может быть, никому, кроме меня, не интересное? Вымарать? Это проще всего.

От равномерных взмахов лопатой становится жарко. И очень хорошо.

Прилетела синичка, присела поодаль на перила, поглядела на меня дружелюбным глазом и упорхнула, испугавшись взмаха лопаты. Нас она не боится, мы всю зиму подкармливаем целую стайку синиц, они дружно слетаются к кормушке под дровяным навесом и одна за другой пикируют на кусочек сала, подвешенный на проволоке. В очередь за ними, но, кажется, без драк, прилетают подзаправиться два дятла, обрабатывающих столбы электросети. Белкам мы подсыпаем корму отдельно, их две зимуют на участке, с осени они приспособили скворечник для зимних запасов и даже подгрызли летку, чтобы свободней было залезать туда и обратно. Что-то скажут скворцы, когда прилетят по весне?..

Какое все-таки чудо — жизнь! Вечная и неустанно обновляющаяся, пьешь ее — не напьешься. Все-то в ней сплетено, взаимосвязано, в мельчайшем частном явлении отражается общее, и нет общего без дробной россыпи частного, личного. И ничто не повторяется, даже как будто неизменное. Вечна любовь, но все же в каждом поколении — своя особенность, неповторимая отметина времени.

Вот я пишу о той давней девчонке почти как о чужой (так издалека вглядываюсь в нее!) и ясно вижу отметинку. Не она одна, многие тысячи комсомолок тех лет яростно отстаивали свою самостоятельность и равноправие, отмечая все, что было до них (старый режим, домострой!), мечтали о новой жизни, где все должно быть иным — любовь, отношения, быт. Откинуть такую приметку времени? Искажится правда. Да и как обойдешь любовь, когда пишешь о юности? Как обойдешь любовь, когда пишешь о человеческой жизни?..

Снова повалил снег — густой, каждая снежинка с монету, только

монеты мгновенно тают на разгоряченной коже. Вали, вали, милый, укрой землю плотным покрывалом, чтобы согреть и напоить ее для нового щедрого расцвета.

Ну и ледоходы бывали на Неве! Красивые и сильные до жути. Остановишься поглядеть — и не уйти, все дела побоку. Ладожский лед пошел!

Кое-кто из читателей, наверно, усмехнется — почему «бывали»? Не стариковское ли это брюзжание «раньше было лучше»? А между тем все правильно — уже нет на Неве прежних могучих ледоходов, хотя и сейчас они приманивают глаз. В войну, когда Ладога с ее Дорогой жизни была под смертоносным огнем, весной лед взрывали, чтобы ненароком не занесло в город, не трахнуло об устои мостов какую-либо вмерзшую в лед мину или неразорвавшуюся бомбу. И после войны продолжали взрывать, оберегая невские мосты.

В довоенные годы весна хозяйничала без помощников. Сперва вскрывалась река и к Финскому заливу проплывал невский истонченный, подтаявший лед. Нева очищалась, только у берегов кое-где оставались ледяные кромки. День ото дня теплело, солнышко пригревало все ощутимей, ветви деревьев, блестящие от влаги, казалось, вот-вот брызнут зеленью лопающихся почек. Но раннее тепло обманчиво: студеный ветер налетал с севера, вздыбливал Ладогу, разгонял по ней тяжелые волны, они крушили и подталкивали ледяные поля — и вот, треща и ухая, в горло Невы вползали толстенные озерные льды. Обгоняемые ледяным крошевом, крутясь на речных водоворотах, плыли громадные льдины, с разгона ударялись о предмостные быки, становились дыбом, раскалывались надвое, и две все еще грузные льдины устремлялись в пролеты, чтобы удариться о быки следующего моста. Стоишь у перил, и кажется — мост содрогается от ударов. Жутко — и все же не оторвать глаз от наплывающих льдин.

В такой весенний день я честно отправилась на семинар, по на улице услышала, что пошел ладожский лед, и, забыв об институте, побежала на набережную. Чем ближе к Неве, тем ожесточенней дул навстречу ветер, прямо с ног сбивал. Но как пропустить такое зрелище?! А смотреть лучше всего с Литейного моста. Я домчалась до моста, на самой его середине протолкалась к перилам и, жмурясь от порывов ветра, огляделась. Слева вдоль реки, почти впритык — корпус к корпусу, — тянулись до еле видимой Охты прославленные заводы Выборгской стороны, мною почти не исхоженной, незнакомой. Один из самых революционных рабочих районов Ленинграда! Сколько видел глаз, сотни труб утыкались в низкое небо,

сотни темных дымов сбивались в глухую пелену, которую сейчас трепало, прибывало к крышам и разрывало ветром. Справа вдоль самого парапета на добрый километр навалены штабеля дров (откуда мы ночами таскали поленья в общежитие), за ними — барские особняки и обшарпанные доходные дома, дальше за верхушками деревьев сияли маковки Смольнинского монастыря и угадывался Смольный; огибая Смольный, река круто поворачивала напрямую, где я стояла, и несла на своей упористой хребтине целые ледяные поля, отбрасывая на излучине ледяной лом — ропаки стояли у берега как стражи.

На одной из льдин что-то темнело! Лыжа! Одинокая сломанная лыжа плыла неведомо зачем и куда... Что случилось? Брошена ли она с досадой незадачливым лыжником, вздумавшим пробежаться по ладожскому простору? Или произошла трагедия?.. Спустя годы я не раз видела на ладожских льдинах обломки грузовиков и самолетов, видела и примерзшие ко льду бугорки, очертаниями напоминающие тела, и хорошо знала, каких трагедий это останки. А тогда одинокая лыжа тягостно поразила воображение. Написать бы рассказ о совсем молодом человеке, отличном спортсмене (как тот, в Учкучевке моего детства, что утонул на моих глазах), о веселом и счастливом человеке, споро бежавшем на лыжах по озерному приволью и не сразу понявшему, что его догоняет гул и треск взламываемого ветром льда. Поняв, он припустил вовсю, еще уверенный, что успеет. «И вдруг под ногами разверзлась трещина...» Нет, лыжа лежала на гладком ледяном поле. «И вдруг...» Но как узнать, что там произошло?

А льдины наплывали и наплывали — те, которые выбились на главное течение, гордо и свободно неслись на стремнине, другие, откинутае в стороны, крутились и тыркались одна о другую, обдирая бока. Мощь движения завораживала. Так и в жизни? — подумала я и тут же со злостью определила, что я-то ни на какой не на стремнине, а бултыхаюсь в сторонке и только тешу себя мечтами. Все мои неумелые попытки упираются в незнание, вот как с брошенной лыжей. И то, что я начала на днях писать, тоже. Сама себя обманываю. Начало еще может получиться, а дальше?..

Что я знаю о дальнейшей судьбе безработной девочки Натки, казалось бы навсегда оробевшей от раннего сиротства, тщетных поисков работы и ругани злой тетки, попрекавшей ее куском хлеба? Существовал при Петроградском райкоме комсомольский коллектив безработных, вскоре обособление безработных признали ошибочным, но при мне коллектив еще был и его члены с утра околачивались в райкоме, охотно выполняя любые поручения — сбегать куда-либо, написать объявление, передать телефонограммы... И Натка приходила — тихонькая, слова от нее не

услышишь, не заметишь, тут она или нет. Когда ей наконец дали направление ученицей на фабрику, она расплакалась от радости, порозовела, улыбнулась сквозь слезы, и стало заметно, что она, оказывается, миловидна, глаза ярко-голубые и улыбка такая открытая, что будет из Натки человек веселый, отзывчивый на доброе, ей бы только распрямиться, почувствовать уверенность!.. Вот об этом я и задумала написать как придавленный нуждой и безработицей юный человек распрямляется, смелеет, становится полноправным членом большого рабочего коллектива. Начало шло легко, потом застопорило. Да и что может получиться, когда ни черта не знаю, не представляю себе...

Надо что-то решать. Решать!

Как ни странно, помогла мама, человек, на чьи советы я меньше всего рассчитывала, наоборот — она уже давно сама советовалась с нами, и слушала нас, и почти никогда не вмешивалась в наши дела.

Когда я прибежала домой, промерзнув насквозь, нагледевшись и надыхавшись вволю, мамы не было, она пошла по урокам, но на столе лежала записка: «Приходил студент Леша, два дня тщетно искал тебя в институте». Без обращения и без обычной справки, когда ее ждать. Так. Значит, рассердилась.

Мама пришла поздно, и поужинали мы почти молча. Я вымыла посуду и вернулась в свою комнату, надеясь, что объяснение не состоится, но мама пришла ко мне и, не садясь, произнесла маленькую речь, что я непозволительно разболталась, что пьесы и стихи, завод и кружок, Палька и Георгий, и «еще разные юноши», инсценировки и постановки — все это хорошо, если не забывается главное, ну и так далее, все вперемешку, а суть была проста: надо посещать лекции и семинары, а не бегать бог знает куда вместо института.

— А мне совершенно не нужно то, что там читают!

— То есть как — не нужно? — сбиваясь с назидательного тона, удивилась мама.

— А на кой мне черт педагогические системы Платона и Аристотеля?! Два года талдычат — зачем? А культпросветработу читают — зеленая скука и никакого отношения к практике! А дальтонплан — ты сама попробуй учиться по дальтонплану бригадным методом! Лешка, который приходил, за всю бригаду сдал историю, а я за всех писала контрольные — культпросветработа в избе-читальне, в армии, в красном уголке, на лесозаготовках, на заводе и даже в больнице. Девятнадцать контрольных, написала, Лешке не успела, оттого и прибежал. Кому это нужно?

Мамино решительное, заранее подготовленное воздействие на

взбалмошную дочку провалилось. Она никогда не училась по дальтонплану бригадным методом.

— Может, это действительно не нужно, — пробормотала она, — но ты хоть поняла, что тебе нужно и что тебя интересует?

— Поняла. Литература.

Бедная моя мама, она не без восторга относилась к моим стихам, и пьесам, и к прошлогоднему отзыву режиссера («Молодое дарование»), и к моим постановочно-актерским опытам (благо не видела их), но попутно, а не вместо образования. В моем ответе запальчивости было куда больше, чем серьезности, и она это почуяла — уж что-что, а своим музыкальным слухом она улавливала интонации безошибочно.

Я ждала расспросов или нового нравоучения, но мама так энергично свела к переносице свои черные брови, что лоб перечеркнула глубокая складка; поразглядывала меня, повернулась и ушла к себе.

Тихо стало.

Вот она прошла по комнате. Остановилась. Скрипнул крутящийся табурет — села к роялю? Негромкий аккорд... и еще... и еще! Играет!

Вечерами после уроков и домашних хлопот мама часто играла для отдыха, и я по-прежнему любила слушать ее. Но в этот вечер она играла необычно и, вероятно, только свое, тут же возникающее: сильные, похожие на стоны созвучия сменялись еле шелестящей, еле проступающей мелодией, и снова почти крики, и вслед затем какая-то грустная примиренность... Мама думала музыкой.

— Веру-у! Поди-ка сюда.

Мама сидела у рояля, положив руку на клавиши, иногда чуть прижимала пальцем одну из черных клавиш и вызывала смутный звук, который долго висел в воздухе.

— Садись. Я хочу тебе кое-что рассказать.

Поперечной морщины уже не было, мамино лицо освещала застенчивая улыбка.

— У меня был музыкальный талант, — тихо сказала она, — сам Скрябин считал, что я могу стать композитором. «Первой русской женщиной-композитором!» — говорил он. А из меня не вышло ничего. Так, дилетант-любитель.

На мой протестующий жест она только махнула рукой — не сбивай!

— В консерваторию я готовилась у профессора Киппа, мечтала попасть в его класс. На экзамене, только я начала играть, кто-то вошел, и все заволновались, я поглядела — высокий лоб, волосы откинута назад, усы, бородка, блуза с раскрытым воротом. Ну, кто бы ни был, продолжаю

играть. И сама чувствую, играю блестяще. И вдруг этот человек спрашивает меня: «А что вы сами сочиняете? Сыграйте!» Я не поняла, откуда он узнал. Сыграла как под гипнозом. Он говорит: «А еще что?» Я еще сыграла. И тогда он сказал: «Это талант, я ее возьму к себе». Меня стали поздравлять, Скрябин в то время был уже знаменит, много разъезжал с концертами, учеников не брал. А я, глупая, разревелась, хочу к Киппу. Кипп даже прикрикнул на меня: «Вы не понимаете, какое счастье вам выпало — учиться у самого Скрябина!» И правда, это было такое счастье!..

Она замолкла, только пальцы вызывали из глубин рояля протяжные звуки с большими интервалами, отчего казалось, что каждый звук падает и новый может возникнуть не раньше чем этот упадет и отзвучит.

— Он занимался со мной вне курса, я должна была закончить консерваторию в два года. Как пианистка и композитор. Начала писать оперу «Разбойники» по Шиллеру. Скрябин говорил, что у меня мужская сила и очень жаль, что я родилась девицей, да к тому же... — Мама усмехнулась: — Да к тому же красивой. А я не понимала — почему жаль? Что мы понимаем в юности!.. Во время каникул я ездила домой. И в Севастополе познакомилась с папой. Мы полюбили друг друга. Очень полюбили. Он сделал предложение, мы обручились.

— И ты бросила консерваторию?!

— Не перебивай. Нет, не бросила. Папа знал, что для меня музыка. И уроки Скрябина. Нет, мы условились пожениться, когда я кончу консерваторию. Его мама — ваша закопанская бабушка — хотела познакомиться со мной, папа не мог отлучиться надолго с корабля, ему разрешили только отвезти меня в Закопане. Он отвез и через несколько дней уехал, а я осталась на месяц. Ты помнишь Закопане? Чистейший воздух... горы... вечные снега... горные ручьи с водопадами... И музыка, музыка без конца!..

Она смолкла, мечтательно глядя перед собою — в собственную юность. Я не решалась перебивать вопросами ее воспоминания. А мама вдруг глянула на меня виновато, даже испуганно и покраснела, как девочка.

— Меня познакомили там с композитором... — Она назвала довольно известное имя. — Он любил отдыхать и работать в Закопане. Мы встречались ежедневно, часами музицировали. Ходили в горы и слушали, как звучит водопад, а потом сочиняли каждый по-своему: музыка водопада. Условливались: сегодня пишем — ветер в ущелье... вечные снега... горная деревушка... Недели через две он пригласил меня на свой концерт в Краков, и вот на обратном пути... — Она снова покраснела, как девочка. — Ты не думай, я любила папу и никогда ему не изменила бы. Но тогда, на

обратном пути, он предложил мне стать его женой, он говорил, что мы созданы друг для друга и для музыки, что «музыкантше с головы до пят» выходить замуж за офицера нелепо. Я ничего не ответила ему, не отказала и не обещала. Проплакала всю ночь. Понимаешь, я не им увлекалась, а вот этим миром музыки, музыки без края и конца... Утром я во всем призналась бабушке. Она поняла. И я уехала раньше, чем предполагала.

Она опять надолго замолчала, и я не торопила ее.

— В Москве все улеглось, даже странно было, почему я плакала в ту ночь. У меня была консерватория, Скрябин, опера, концерты... Папа писал ежедневно, иногда приезжал, иногда я ненадолго ездила в Севастополь. Это было такое чудесное время!.. А потом... К лету я должна была закончить консерваторию. И в течение года своих «Разбойников». И вдруг в начале весны приезжает папа: в Америке строится для нашего флота броненосец «Ретвизан» и его посылают на два года вместе с группой офицеров на приемку артиллерийских систем. Он уже записал: с женой. Мы провели неделю, обсуждая, споря, колеблясь... Я снимала комнатку с круглой печкой в углу. Я все стояла, опираясь спиной на теплую печку, а папа шагал и шагал взад и вперед. Просил, умолял, говорил, что не может расстаться со мной на два года...

— Но ты же могла приехать к нему позже! — воскликнула я. Мне казалось, что они оба глупо путались в простых, легкоразрешимых вопросах.

— Ты забываешь время и среду, — печально сказала мама. — Девушка, избравшая самостоятельную профессию, — этого никто не понимал, не признавал. Расстаться сразу после свадьбы, а потом пуститься одной в такое путешествие — об этом и заикнуться нельзя было. Пойти всем наперекор?.. Были и тогда героини — Софья Ковалевская, женщина-математик, но и то ей пришлось, как говорили фиктивно выйти замуж. А я не была героиней. И очень любила папу. В общем, к концу недели я сдалась. Назначили день свадьбы. Когда я сказала Скрябину он закричал: «Так я и знал, что вас уведут!» Он был вне себя. А я еще надеялась, что ничто не кончено. Папа всегда и везде первым делом заботился, чтоб у меня был рояль. В Америке я брала уроки у хороших музыкантов. Пыталась продолжать оперу. Но понимаешь, это нельзя делать «между прочим», в свободное время. И очень не хватало Скрябина — как он слушал, одобрял или морщился. С ним у меня была уверенность, а без него... Потом «Ретвизан» ушел в Порт-Артур, и я переехала туда. Потом началась война. Потом родилась Гуля. Потом ты...

— Мама, ты жалеешь?

— Нет.

«Нет» прозвучало резко. Руки ее взлетели над клавиатурой и взяли несколько глухих аккордов, пальцы пробежали от басов до самых звонких верхних клавиш, яростно позвенели этими клавишами, снова перекинулись на басы и загремели такими отчаянными, перекликающимися и спорящими аккордами, что у меня дух захватило. Я не решалась взглянуть в ее лицо. А руки ее разом оторвались от клавиш, она встала передо мною и сказала голосом решительным и полнозвучным:

— Я была так счастлива с тобой до последнего дня, как только может быть счастлива женщина. Но если ты хочешь посвятить себя литературе, выбирай сразу и на всю жизнь. Любовь, семья, материнство берут много сил и много души. Можно ли совместить их с творчеством, не знаю. Но подчинить их творчеству, поставить творчество на первое место, от многого отказаться, наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие, на домашние заботы — надо! Не сумеешь — будет женское рукоделие, лучше не браться.

Наверно, в моем лице читалось сомнение, мне действительно представлялось, что мама судит по старинке, сейчас все проще — равенство женщин, комсомол, новый быт...

— Я часто думала, — снова заговорила мама, — могло ли быть, что талант давался природой только мужчине? Но за всю историю можно назвать всего нескольких женщин, развивших свой талант. Остальные не сумели, или жизнь задавила. Вот и подумай. Тебе скоро девятнадцать, почти взрослая. А понимаешь ли ты, каким образованным человеком должен быть писатель? Как глубоко должен знать то, о чем пишет? Как он должен развивать, шлифовать ежедневной работой то, что в нем заложено? Думай и решай. Сама.

— Решу, — сказала я, — сегодня же!

— Ну-ну, — сказала мама и поцеловала меня. — А теперь спать. Уже двенадцатый час.

Придя к себе, я привычно раскрыла постель, взбила подушку и услышала через стену мелодичный бой хозяйских часов — дон-н! Так часы отбивают четверть. Четверть двенадцатого.

Но я же сказала — сегодня?!

И решу! Еще сорок пять минут? Достаточно.

Не раздеваясь я потушила свет, забралась с ногами на кровать и начала думать. Сорок пять минут на решение... Мысли мчались наперегонки, но все в одну точку. Чтобы решить сразу — и на всю жизнь.

А есть он у меня, талант? «Молодое дарование» — чепуха, в пьесе все было нахватано с бору по сосенке, при постановке ее всю переиначили. Стихи тоже ерунда, подражание то Ахматовой, то Маяковскому, то Блоку — диапазончик! Рассказы, повесть — вот к чему меня тянет, вот к чему я прикладываю все, что вижу, слышу, думаю. И чтоб о нашей жизни, о нас самих, комсомольцах, — ведь ни одной книжки! Напишу — тогда и будет видно, есть он или нет, иначе как определить? Только работой. Ничто другое не притягивает, значит — к этой работе и готовиться.

Творчество... Так назвала мама. Можно ли совместить творчество с любовью? Мама уверяет — трудно. Трудного я не боюсь, а вот «от многого отказываться...». От чего? От любви? От Пальки? Ерунда! Не женщина и не мужчина, писатель среднего рода?! А в литературе разве можно обойти любовь? Что ж, у моей Натки не будет любви? Но как напишешь любовь, если сама любви чураться?.. Все сумею совместить. Все! Только сперва надо определиться. Надо, чтобы Палька понял и захотел не мешать. А не поймет... Нет, не может быть. Поймет.

Дили-дон-н-н!

Половина двенадцатого. Осталось тридцать минут.

Злюсь — дальтонплан, бригадный метод, Платон и Аристотель... Наш институт молодой, программы и методы не устоялись. У политехников и горняков такого бедлама нет и в университете нет, там знают, чему учить и как учить. И все же дело не в Платоне и Аристотеле, эти почтенные предки с их педагогическими системами тоже кому-то нужны. А мне не нужны. «Понимаешь ли ты, каким образованным человеком должен быть писатель?» Да, понимаю. Но то, что мне нужно, институт не дает. Разве что лекции Конского, остальное не то. Написала я кипу контрольных по культпросветработе; писала легко потому что помню Мурманск, Петрозаводск, Кондопогу, Олонец, Видлицу... Все что наворотила в контрольных, оттуда, а не из курса лекций нашего многоуважаемого ректора, который читает так академично, что жизни не узнаешь и в жизни не приложишь. А мои башибузуки? Разве институт помог с ними справиться? Помог прежний комсомольский опыт. Вот только с беседой о Ленине... Как это было неожиданно и хорошо! На второй или третий день после смерти Ленина, еще до похорон, поехала на «Электрик» из добросовестности, хотя была уверена — в эти дни не до занятий. А в классе мальчишек полно, притихшие, «расскажите о Ленине»; горло сдавило, слезы жгут глаза, два часа рассказывала все, что вспомнилось, и повторила то, что говорил нам, студентам, товарищ Парижер, старый большевик. Но ведь он партприкрепленный к институту, сам институт ни

при чем. И тот же товарищ Парижер помог обуздать нашего секретаря Петю Шалимова, когда Петя решил, что студенты, живущие в семьях, «попадают под тлетворное влияние нэпа будто и не комсомольцы — галстуки, туфли на каблуках, шляпки»; ради нашего спасения Петя надумал (и убедил комсомольский комитет), что нужно всех переселить в общежитие... К счастью, на комсомольское собрание пришел товарищ Парижер, я и задала вопрос: «Правильно ли нас переселять в общежитие в порядке комсомольской дисциплины? И почему комсомолке нельзя ходить на каблуках, когда все женщины ходят? И почему комсомольцу нельзя надеть галстук? Вы же в галстук». Товарищ Парижер пожимал плечами и с усмешкой косился на Петю. Он сказал, что переселять нелепо, тем более что в общежитии и без того тесно и вряд ли оно безупречно с точки зрения коммунистической морали, а также санитарии; надо понять, сказал он, что время серьезное, мы остались без Ленина, впереди много работы и борьбы, к этому и нужно себя готовить, а каблуки и галстуки преследовать — «не обижайся, товарищ Шалимов, глуповато». Через несколько дней он столкнулся со мною у выхода из института и сказал: «Пойдемте, проводите меня немного» — и начал расспрашивать, продолжаю ли я бывать на заводе и вести кружок, это очень важно, вы комсомолка и, наверно, будете членом партии? — так вот, наша партия — партия рабочего класса, ведущего класса эпохи, вы присматривайтесь, рабочие вынесли на своих плечах основную тяжесть революционных боев, гражданской войны и восстановления, они несли и несут большие жертвы, вы должны узнать рабочий класс, если хотите быть настоящим коммунистом.

А я — не знаю. Хожу по цехам робеющим экскурсантом. И о Натке ничего путного не напишу — с лету, со стороны разве поймешь жизнь рабочего коллектива!

В «Листке рабкора» напечатали мое стихотворение на смерть Ленина, я радовалась и гордилась, хотя нужно было краснеть от стыда! «В огне рокочущем вагранок...» А видала я вагранки? Рокочут они или нет? Понятия не имею! Все приблизительно. Все легкомыслие.

Мама будто угадала — «наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие». Ну, женской слабости я не чувствую, но легкомыслие!.. С мальчишками полбеда, не в них дело. Куда серьезней. Два случая прямо-таки обжигают, стоит вспомнить...

На «Красную Баварию» меня затянула Зина Амосова, комсомольский секретарь, славная, деловая девушка:

— Приходи, у нас девчат много, а доклад или беседу провести некому.

Использовала она меня всюду, но я и не отнекивалась — укрощая

башибузуков, вошла во вкус. В то время шел ленинский призыв в партию. Еще на «Электрике» я побывала на таком собрании, звали и комсомольцев, и беспартийных, зал переполнен, вступали в партию рабочие с большим стажем, участники революции и гражданской войны, серьезные, бывалые люди. А на «Баварии» под осень комсомольское собрание должно было рекомендовать в партию лучших комсомольцев. И вот перед собранием Зина говорит:

— Мы тебя тоже рекомендуем.

Я растерялась — уж очень неожиданно, мне только что стукнуло восемнадцать...

— Но ты же политически подкованная, активистка, пропагандист!

Ну ладно... А на собрании встал Ося Ф., работник райкома комсомола из агитпропотдела, и сказал, что это неправильно, «Вера у вас на временном учете, ей надо вступать у себя в институте». У Зины с Осей был роман, она смутилась, а я разозлилась: мы с Оськой недавно поцапались в райкоме, я его назвала формалистом, вот он и отомстил. Отомстил? Но в данном случае он же совершенно прав! И мое согласие было сплошным легкомыслием, я не готовилась, еще никак не определилась, саму себя толком не поняла — куда же мне в партию?!

И еще случай — после той праздничной вечеринки. Да и на самой вечеринке!.. Устроили ее на частной квартире возле завода. Я думала, будет чай с печеньем и сладостями, а на столе разные закуски, винегрет и бутылки. Из самолюбия постаралась скрыть, что для меня это внове. Палька сперва не хотел пускать меня сюда, а потом... решил снова испытать «на прочность»? Сам уселся между двумя девицами, а меня посадил на другой конец стола рядом с Георгием. Ну ладно. Чего бы мне ни предложили налить, я говорила:

— Конечно.

Белое и красное, горькое и сладкое. После нескольких рюмок все завертелось и поплыло перед глазами, а возле Пальки сидели уже не две девицы, а четыре. Только не показать, что опьянела! Только не показать! Уцепилась руками за края стула и жму, жму до боли — и вдруг все встало на свои места, Палька издали поглядывал на меня, а девиц было две. Потом осталась одна, вторая исчезла, и Палька тоже. И вообще за столом опустело, парочки разбредались по квартире, в соседней комнате очень слаженно пели под гитару, а я сидела как прикованная к стулу: отпущу его края — вдруг опять все поплывет?.. Георгий заглянул мне в лицо, решительно оторвал от стула, увел в темную переднюю и устроил на большом сундуке.

— Когда вы начали пить все подряд, я удивился: на вид совсем девочка, а какая дошлая девица! — сказал он, присев у меня в ногах. — А вы, оказывается, просто глупышка, вам надо сказки рассказывать, а не водкой поить. Лежите, а я расскажу.

И он начал медленно-премедленно рассказывать, что в тридевятом царстве... Когда я проснулась, уже светало. И дуло от двери — гости расходились. Пальки не было. Георгий подал мне пальто: — Пойдемте провожу.

Вышли небольшой группой и остановились видно, всю ночь лил дождь, на улице потоки воды, ступить некуда. А мы, три девушки, в легких туфельках. Георгий позвал одного из парней, они сцепили руки — «садитесь, поехали». За нами так же понесли другую, а третью ее парень попросту взял на руки. Я смеялась и болтала ногами, хмель еще не выветрился. И вдруг увидела идущих навстречу людей. Много людей. Рабочие шли на завод. На «Электрик». Я ловила их взгляды — насмешливые, презрительные. Соскочила прямо в воду и пошла, шлепая по лужам. Люди на работу, а мы... Если среди них был кто-нибудь из моих башибузуков, что он обо мне подумал?.. Борец за дело рабочего класса!..

Дон-н-н!

Без четверти двенадцать. Осталось пятнадцать минут.

А зачем мне еще пятнадцать минут? Все ясно. С институтом конец. Ухожу на завод или на фабрику, чтобы узнать, понять разобраться, испытать! Но... Пальку-то я осуждала, когда он бросил рабфак и ушел на завод? Нет, тут совсем другое, Палька не выдержал. А мне — нужно. И пойду я не так, как Палька, он хвастается: «Мой завод, мой завод!» — а когда водил меня, сам был вроде экскурсанта, ничего толком не мог объяснить, то ли дело Георгий! Сидя в комсомольском комитете, видишь жизнь со стороны и сверху. Я пойду по-настоящему, к станку, сама испытаю, что такое производственный труд. Узнаю ведущий класс эпохи не налетом, а изнутри, какой он есть, со всем хорошим и плохим. Прочувствую как моя Натка впервые вошла в цех, как уставала от непривычной работы, как ее приняли работницы... Ре-ше-но!

А кто меня возьмет, когда есть безработица? На «Электрик» взяли бы охотно и на «Баварию» тоже, конечно, если совмещать с комсомольской работой. Ну и буду совмещать. Но оба завода на Петроградской стороне, а Пальку прочат в секретари райкома. Подчиняться Пальке? Нет, не дождется. И не такой уж он рабочий район, Петроградский! Вот бы на Выборгскую сторону!.. Если пойти в губкомол и попросить, может, и направят? Пойду. Завтра же.

Вот так — примерно так — я размышляла в эти сорок пять минут и такое приняла решение, и все было бы прекрасно, если б за всеми этими мыслями не свербила одна, на которую не было ответа: а если я и там ничего не сумею написать, если выяснится, что никакого таланта нет?..

Дон-н-н! Дон-н-н! До-н-н!.. Часы били двенадцать.

Уже отзвучал последний удар, и я уже юркнула под одеяло, предвкушая сон, когда вопреки смелым решениям на меня навалился страх. Что же это я надумала? Крутая перемена жизни впервые стала зримой: в седьмом часу утра, выбившись из битком набитого трамвая, в рабочей одежде и косынке, укрывающей волосы от пыли, я иду в густой толпе рабочих и работниц... опускаю рабочий номер в кружку возле турникета проходной... вхожу в сумеречный цех, запускаю неведомый станок... И потом — час за часом, час за часом полчаса на обед и снова — час за часом восемь часов. День за днем, день за днем. В субботу не восемь, а шесть часов, в воскресенье отдохнуть и, главное, выспаться... Выдержу ли? Хватит ли времени и сил писать? Учиться? Читать? Встречаться с Палькой, с друзьями? Сходить в кино, в театр?..

Как бы там ни было — решено!

подавив страх, я пресладко заснула, чтобы с утра немедленно, ни с кем не советуясь и не оставляя лазеек для оттяжек и колебаний, действовать!

Решение, принятое в те сорок пять минут, определило всю дальнейшую жизнь. Было ли оно правильно? Для меня — да.

Ну а что же выяснилось с талантом, с этим неуловимым свойством личности, которое не определишь ни расчетом, ни измерительным инструментом, ни рентгеном? И что это такое, литературный талант? Неодолимая потребность делать именно эту работу, а не какую-либо другую? Непрерывное душевное усилие и способность целиком отдаться работе, радуясь ей и не отступаясь от нее ни ради чего иного? Власть над образами, теснящимися в воображении, или умение подчиниться им и пойти за ними туда, куда они манят? Жар, съедающий душу, как шагреневую кожу, или сама шагреневая кожа — нет, совсем другая, порою иссякающая, но при соприкосновении с жизнью способная восстанавливаться снова и снова?.. Чем бы он ни был за долгую литературную жизнь я так и не уверилась, что он есть. Когда работается хорошо, со счастливым азартом и все, что хочешь написать, легко воплощается на бумаге — вроде здесь он, со мною. Но когда заколодит,

слова упираются, мысль ускользает, образы тускнеют — какой, к черту талант, хоть бы профессионального навыка побольше!.. Впрочем, может быть, только балаболки неколебимо убеждены в своей талантливости? Работать нужно. Работать. А судить — читателям.

Но вот что оказалось бесспорным: быть женщиной и не поступаться избранным делом трудно. Очень трудно. Иногда больно до отчаяния. Случаются утраты, которых могло бы не быть, а временами находит — среди людей — горчайшее одиночество.

Наработала ли я столько доброго, чтобы это оправдалось? Не знаю.

Жалею ли я? Нет.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕКОТОРЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ПРОФЕССИИ

Может быть, я забегаю вперед? И если уж позволять себе такое вольное путешествие, не лучше ли совершить его позднее?..

Я долго прикидывала так и этак, не написав ни строчки. Помимо всего прочего, наша работа требует полной ясности — что, где и когда, о чем и почему: пока не разберешься в наплывах мыслей и образов, не увидишь мысленно новую тему в целом и частностях (пусть потом все перешерстишь по-иному), пока не ощутишь построение главы и не услышишь ее интонацию — лист бумаги останется чистым. Торопить себя бесполезно, все равно ничего стоящего не выжмешь. Лучше пойти высаживать рассаду, слушать музыку или смотреть хоккей, на худой конец решать кроссворды. Мысль будет работать даже тогда, когда первая пятерка ЦСКА ведет атаку на ворота ленинградцев. Решение может открыться в те минуты, когда ты умиленно приветствуешь первые ликующе-зеленые ростки, пробившиеся из-под рыжей гривы прошлогодней травы. Творческая мысль работает подспудно, как ручеек под сугробом, и выбивается наружу сама, когда наберет силы.

Вот и сегодня, высматривая в окно, не обосновалась ли наконец в своем дощатом домике парочка молодых и, видимо, беспечных скворцов, я как-то сразу увидела всю главу, сложившуюся за недели мучений, и осознала *почему*... Почему здесь, а не позднее. Ведь я сегодняшняя так или иначе все время присутствую в этой книге, мало похожей на добропорядочные мемуары, а мои раздумья о профессии не привязаны к нынешнему времени или ко вчерашнему, они возникали и уточнялись всю жизнь в процессе накопления и осознания опыта. Пусть девчонка, о которой я пишу, сделала только самый первый шаг к желанной профессии — что ж, тем лучше, перед дальнейшим повествованием определится точка зрения автора и ракурс, в котором автор рассматривает особенности литературного пути.

Итак, профессия...

Профессия — без высшего образования, без диплома?

Не один читатель, вероятно, отметил про себя: в юности мало ли делают глупостей, но и сегодняшний автор, достигший почтенного возраста, как будто бы одобряет юношеский поступок, даже утверждает — правильно!

Правильно ли?

Оговорюсь сразу — мне часто мешала в работе нехватка знаний в области точных наук, много времени и сил я тратила на изучение турбостроения, когда работала над романом «Дни нашей жизни», и проблем газификации угля, когда писала «Иначе жить не стоит» (кстати, тут мне ни в чем не помогло то, что в институте я на «отлично» сдала химию по университетскому учебнику!). Но так же точно я изучала проблемы строительства и планирования, когда писала «Мужество», и накопила целую библиотеку военных и военно-исторических трудов в годы войны, и прочитала кучу историко-революционных исследований для последней книги... Как правило, такое изучение остается потом за пределами произведения, но автор должен *знать*. Знать для того, чтобы обрести творческую свободу.

Всезнайкой быть невозможно, но писателю необходимо *чувство ориентации*, позволяющее понимать, чего он не знает, что нужно изучить и как это сделать наиболее разумно (чувство ориентации в громаде накопленной человечеством культуры — это, кстати, один из главных признаков интеллигентности). Сколько сил и времени тратится зря, если нет навыков познания и освоения нового материала! Иногда такие навыки вырабатываются еще в годы учебы, если студент действительно ищет знаний, но автоматически их не дает никакой институт, даже отличные отметки не гарантируют образованности и умения самостоятельно работать.

Литераторская профессия трудна, в частности, и потому, что нет в ней очерченного круга необходимых сведений, заранее не учтешь, что понадобится завтра, на какой странице вдруг споткнешься. Обходят незнаемое только халтурщики — впрочем, некоторые из них прут напролом, даже не осознавая своего невежества.

Порой с завистью думаешь об энциклопедистах. Двести, даже сто лет назад еще можно было охватить основные направления науки, ее важнейшие успехи и проблемы. Но процесс познания с каждым новым успехом расширялся и убыстрялся, и если в конце XIX века его скорость и радиус исследований можно было сравнить со скоростью и радиусом действия паровоза или первых летательных аппаратов, то теперь уместней сравнить с реактивным самолетом и даже с космической ракетой — и по стремительности развития науки и техники, и по шпроте исследовательского кругозора. Таков XX век, прекрасный и проклятый одновременно, интересный и губительный, небывалый по сложности и напряжению век!.. Охватить все одним, пусть самым жадным и

неутомимым умом?.. Такая попытка может привести лишь к тому, что человек прокорпит всю жизнь над книгами и если не сойдет с ума, то унесет свои знания в могилу, не успев использовать их. А ведь писателю нужно еще без усталости читать великую книгу живой, окружающей его жизни! И все же... Все же писатель, даже при таланте, попросту не осуществится, если не станет передовым интеллигентом своего времени, то есть не научится *понимать* свой век в его движении, в его главной проблематике, в его социальной, научной, психологической особенности. Этого не извлечешь из книг. Это дается всей жизнью в целом, жизнью — соучастием в делах и заботах века.

А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать...

Эдуард Багрицкий обратил этот призыв к самому себе и к каждому из нас. К каждому, кто способен услышать.

Так при чем же тут дипломы?!

Школьно-вузовские знания — всего лишь фундамент, говоря языком строителей, нулевой цикл, опора будущего здания. Для литератора — начальная база, на которой разовьется (или не разовьется) интеллигентность. В наши дни в литературу чаще всего приходят люди с высшим образованием, уже владеющие другой специальностью — инженеры, моряки, врачи, геологи... Многим писателям моего поколения приходилось наверстывать основы самостоятельно, без парт и лабораторий, часто бессистемно, делая мучительные усилия там, где нынешние молодые спокойно восходят со ступеньки на ступеньку. Зато жизнь смолоду одаривала нас многим другим, в том числе и упорством в самообразовании — без уготованных ступенек.

Взвешивать, что лучше, вряд ли стоит. Все мы знаем случаи, когда человек с несомненным дарованием, но без достаточной культуры попросту не сумел или поленился самостоятельно добирать знания, а в итоге растерял и то, что у него было. Знаем и другие случаи, когда талантливый человек, что называется, сам всего достиг, встретишь такого самоучку, широкообразованного, глубоко и тонко мыслящего, — и не верится: неужели все сам?! Законов тут нет, но...

Рискуя рассердить многих товарищей, которых сердить не следовало бы, я все же выскажу свое глубочайшее убеждение: для человека с

тяготением к писательской профессии наименее плодотворно полученное смолоду специальное литературное образование, оно не облегчает, а затрудняет путь в литературу. А ведь сейчас в Литературный институт рвутся — а порой и поступают — прямо со школьной скамьи, еще не ведая ни жизни, ни себя самих!

Некоторая замкнутость в круге литературных понятий и сложившихся мнений мешает самопроявлению таланта, особенно в первые годы труда, когда так важна неповторимость голоса и самостоятельность виденья жизни. Литература тем и прекрасна, что вбирает в себя таланты из всех слоев общества и самых разных профессий, из разных краев страны, из больших городов и дальних-дальних сел, и каждый талант, иногда еще угловатый неотшлифованный, приносит с собой кусочек своего мира и своей среды с ее психологией, трудом, бытом, отношениями и проблемами, так что в целом литература создает многокрасочную, многолюдную и многопредметную картину народной жизни. Писателю нужна почва, на которой он чувствует себя упористо, и вольный воздух, какой бывает на раздолье, когда тебя овевают все ветры — ветры жизни. Нужна своя среда — широкая среда, развивающаяся вне литературы, но ее питающая, ее пронизывающая. От нее — темы и образы, язык и стиль. От нее — своеобразие. Чем вернее, глубже и ярче воспроизводит и осмысливает писатель то, что впитал глазами, слухом, сердцем и умом, тем шире и глубже воздействие его произведений на читателей, то есть на ту же среду. Одностороннее впитывание сменяется взаимопроникновением.

Конечно, истинный талант пробьется к познанию жизненного материала и со скамьи Литинститута, да и откуда угодно! Но все же ничто не заменит живости и непосредственности восприятия, свойственных молодости, ее распахнутым глазам и открытому сердцу. С годами вжиться в интересующую тебя среду, освоиться там становится трудней. И тогда подстерегает опасность — сложившиеся на лекциях и семинарах литературные представления и вкусы окрасят творчество налетом головного восприятия людей и проблем, вместо подлинной оригинальности породят оригинальничанье, изыск. Ну, а если после литературного вуза, диплома, попыток и надежд выяснится, что дарование, мягко говоря, очень малое? Лихорадочные поиски темы, могущей принести успех или хотя бы публикацию в журнале... горечь разочарований, уязвленное самолюбие, растущая мнительность, обиды на редакторов, на рецензентов, на более удачливых друзей...

За такого вот несчастливца усиленно ратовали его друзья по институту, добиваясь, чтобы «хоть что-нибудь напечатали». Одного из друзей,

одаренного писателя, я как-то спросила в разговоре с глазу на глаз:

— Ну скажите откровенно, вы же любите и понимаете литературу... Вы действительно считаете вашего друга талантливым или хоть подающим какие-то надежды?

— Нет, — честно ответил он, — но человек он литературно грамотный и уже «отравлен» литературой; наконец, ему уже перевалило за тридцать, куда он теперь денется? Все равно он будет существовать где-то около литературы. Да и парень хороший...

А за что такая горькая судьба хорошему парню, которому теперь уже никто, наверно, не решится сказать правду?..

Цыплят можно выращивать в инкубаторах, писателей — нельзя.

Вскоре после Отечественной войны во время одной из наших нечастых встреч Александр Фадеев, вдруг загоревшись, поманил меня к письменному столу: идите сюда покажу кое-что интересное!

На расчерченном листе бумаги — диаграмма.

— Вот, подсчитал по пятилетиям, включая два предреволюционных, сколько появилось новых писательских имен. Ну, не всяких имен, конечно, а писателей, которые остались в литературе.

Простить себе не могу, что не записала тогда подсчет, сделанный Фадеевым! После революции от пятилетия к пятилетию шел рост, кривая неуклонно тянулась вверх. Как всегда, когда что-либо волновало и радовало его, Фадеев густо порозовел, помолодел, голос приобрел звонкость.

— Видите! — восклицал он. — Первое пятилетие после революции: фронты, голод, разруха, народ малограмотен, а то и вовсе неграмотен, да и не до литературы... И все же потянулись! Потянулись не ради славы — чтобы рассказать о революции, о небывалом народном опыте... А потом растет грамотность, миллионы людей приобщаются к культуре, к переустройству жизни, и пошли выявляться таланты — новые таланты! — из самой гущи, до революции многие из них не пробились бы, захирели. Видите, какой рост!

Но вот победная линия дошла до пятилетия 1940–1945... и будто сорвалась в пропасть. Фадеев осторожно провел пальцем по образовавшемуся провалу:

— А этих всех убили...

Он низко склонил голову, и стало заметно, что он почти совсем сед.

Когда он распрямился, лицо его казалось старым. Оживало оно постепенно: что-то проблеснуло в глазах, разгладился лоб, улыбка чуть тронула губы.

— Готовим сейчас всесоюзное совещание молодых. Какие люди

приходят! Один к одному — воины. Обстрелянные, опаленные, глаза взрослые, умудренные какие-то... а заглянешь в анкеты — мальчишки, со школьной скамьи да на фронт, по три-четыре года в пекле... В ближайшие годы они заговорят, по-настоящему заговорят!

Карандашом пунктиром он продолжил на диаграмме, линию подъема круто вверх. И не ошибся. Из самого пекла жесточайшей войны пришло в литературу большое и ценное пополнение. И опять не ради славы потянулись люди к перу — пережитое распирало их, кровь и пепел стучали в их сердца: рассказать! Рассказать всем сегодняшним и будущим людям, как оно было, продлить жизнь погибших товарищей, донести до всех, какой ценой была удержана или отвоевана каждая пядь родной земли, каждая безвестная деревушка, и что люди думали, и чем жили на войне, и что надо помнить, помнить! — и не растерять в дни мира... Бесценный опыт всенародной борьбы был их *личным* опытом, и эта слиянность личного и всенародного насыщала страницы книг жгучей правдой, которую не заменишь ни усилиями воображения, ни дотошным изучением.

Вот такие были дипломы...

А потом им, вышедшим из пекла, предоставили все — встречи с опытными писателями на всесоюзных семинарах и литературных объединениях, учебу в Литературном институте и на Высших литературных курсах. Одаренный человек, знающий, что он хочет и *должен* сказать людям, будет жадно впитывать знания и вникать в опыт мастеров, но пойдет своим путем. Он мог бы «до всего дойти» и в одиночку, но медленней.

Война — крайний случай, и не она как таковая породила большую литературу, выдвинув молодые таланты и захватив многих уже известных писателей, именно в эти годы достигших творческих вершин. Захватывающе высокой была цель — отстоять от фашизма свою родину и саму жизнь на земле. Борьба шла всенародная, судьбы писателей были неотрывны от судьбы всего народа. У фашистов хватало умелых воинов и фанатичной веры в Гитлера, Гитлер и его идеологи всеми силами поощряли возникновение произведений искусства, проникнутых идеями фашизма, однако мы знаем, что фашистского искусства так и не возникло. Человеконенавистничество и жестокость не питают таланты, а глушат и выхолащивают их.

«...поэзия существует потому лишь, что находит свою вечную правду в прекраснейших побуждениях человеческого сердца».

Эти слова Ференца Листа мне кажутся точными. Для музыки, для стихов, для искусства вообще.

Проработав в литературе больше сорока лет, я и до сих пор бываю совсем не уверена в своих силах, не знаю, владею ли волшебной палочкой, чье легкое прикосновение неведомо как превращает труд в искусство, и что это такое — настоящий писатель, и в чем чудо воздействия его созданий на читателя, и почему приходит успех к одной книге и минует другую, быть может лучшую...

Помню, на одном редакционном совещании принимали к изданию первые книги двух новых авторов — назовем их С. и Н. Одаренность первого не вызывала сомнений, и книга прошла без сучка без задоринки, вторую книгу встретили холодновато. Отстаивая ее, я сказала, что С. и Н. мне кажутся наиболее талантливыми и интересными из появившихся за последнее время молодых писателей, — и сразу вспыхнул ожесточенный спор, как всегда бывает, когда говорят люди заинтересованные, пристрастные к своему делу. Голоса повысились, глаза засверкали.

— Как вы можете сравнивать! — кричали одни. — С. талантлив от бога, посмотрите, какие у него детали, как точен стиль! А ваш Н. угловат, неуклюж, никакой он не писатель, разве что темы современные!

— Да, неопытен, не блещет стилем, — возражали другие, — но характеры-то интересные, новые, проблемы свои, из жизни взятые, нет ничего заемного, ни шаблонных мыслей, ни готовых ситуаций!

— А что, что у него так уж ново и нешаблонно?!

Начали разбирать произведения бедняги Н., от них клочья летели, при этом было высказано немало справедливых упреков. Но вот что выяснилось в этом запальчивом споре: самые яростные противники Н. запомнили прочитанное, хотя читали полгода или год назад, запомнили и людей, и ситуации, в которых герои действовали. С плохими вещами так не бывает, прочитаешь — и назавтра уже не помнишь. Про С. в пылу спора забыли — потому ли, что никто не отказывал ему в умении писать, или потому, что за написанным не вставала личность, вызывающая интерес?..

Прошли годы. И С., и Н. закрепились в литературе, у обоих уже немало книг, но более известен и близок читателям все же Н. Есть такой безошибочный показатель: взяв в руки новую книжку журнала и найдя в оглавлении знакомого автора, читатель начинает чтение именно с его вещи, зная, что наверняка будет интересно, в чем-то неожиданно, потому что автор вовлечет его в мир значительных чувств и насущных проблем, а потом — понравится вещь или нет — будет о чем подумать, к чему вернуться воображением... Так вот, я много раз убеждалась: встретив в

оглавлении имя Н., читатели раскрывают журнал на его вещи и вовлекаются в мир чувств и мыслей, куда ведет их незаурядная личность автора. Так было и с первыми, угловатыми произведениями Н. С тех пор его дарование окрепло, выработался у него свой стиль и еще что-то самое главное, без чего нет литературы. Безупречен ли его стиль? Далеко не всегда. Но...

Я не считаю Н. великим писателем, думаю, что и Флобер с некоторым преувеличением написал то, что мне сейчас вспомнилось:

«Великие люди часто пишут весьма плохо, и тем лучше для них. Не у них следует искать искусство формы, а у второстепенных авторов».

И еще одна мысль Флобера:

«Сила произведения достигается, грубо говоря, напористостью, то есть неослабевающей, проявляемой от начала до конца энергией».

А вот что записал однажды в дневнике Лев Николаевич Толстой:

«Утонченность и сила искусства почти всегда диаметрально противоположны».

В моем письменном столе хранится потрепанный конверт с надписью «Умные выписки». Я не занималась специально их собиранием, но, читая в разное время книги талантливых людей, их письма и дневники, иногда выписывала на карточки мысли, созвучные моим или требующие размышлений. Недавно просмотрела их — большинство выписок все на ту же тему: что же оно такое, писательство и творчество вообще? Крупные таланты потому и крупные, что неповторимы и несут людям свой законченный и все же текущий, переливающийся светом, обособленный мир, вникли — и вдруг поймешь, что это мир общий, но глубже и вернее понятый, щедро раскрытый тебе и всем, кто способен воспринять. Как это делается?

«Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них 1/1000 000, ужасно трудно. И этим я занят».

Так писал Толстой Фету во время работы над «Войной и миром».

Любой писатель знает, как это «ужасно трудно», хотя и увлекательно, — среди множества множеств возможных приблизительно верных поступков, движений, слов найти единственно верные поступок, жест, слово для каждого из людей, о которых он пишет. Гений — тот, кто их находит всегда и для каждого, даже третьестепенного персонажа.

Почему тоскующая в деревне Наташа Ростова, слушая чужие скучные разговоры, а потом спускаясь по лестнице верхом на брата, произносит: «Остров Мадагаскар. Ма-да-гас-кар»?.. Мы не знаем сложной цепи ассоциаций, подсказавших автору именно это вынырнувшее из ученических времен название, но мы знаем — тут жизненная правда, искра высокого искусства, высветлившая для нас внутреннее состояние Наташи точнее, чем любое описание. Как он возник у писателя, этот остров Мадагаскар? Из внезапного озарения? Или как итог долгих поисков, меняющихся вариантов? Не знаю, отражено ли в черновиках «Войны и мира» рождение этих нескольких строк, и не хочу заниматься розысками и уточнениями, они не имеют для меня значения, потому что счастливые озарения, какими бы они ни казались внезапными, не возникают из пустоты, а вспыхивают на пиках творческого напряжения. Труд, труд, труд. «Ужасно трудно...»

При всей разности взглядов, интересов и характеров отношение к своему труду роднит всех творческих людей, в какой бы области искусства или науки они ни работали.

Менделеев: «В науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя».

Чайковский: «Вдохновение — это гостья, которая не любит посещать ленивых».

Репин: «Вдохновение — это награда за каторжный труд».

А вот несколько парадоксальное высказывание, извлеченное из дневника Жюлья Репара:

«Талант — вопрос количества. Талант — это не значит написать одну страницу, это значит написать триста. Нет такого романа, которого не мог бы задумать ординарный ум, нет такой красивой фразы, которую не мог бы составить начинающий

писатель. Остается только поднять перо, правильно положить лист бумаги и терпеливо его исписать. Сильные делают это без колебаний. Они садятся за стол, они будут потеть. Они дойдут до конца. Они изведут все чернила, они испишут всю бумагу. Только это — отличие талантливых людей от трусов, которые никогда не начнут. В литературе надо быть волом. Самые выносливые воны — это гении, те, что трудятся по 18 часов без усталости. Слава — это постоянное усилие».

Тут есть о чем поспорить, но утверждения Ренара таят в себе плодотворное зерно, и начинающему творческий путь человеку стоит позаботиться, чтобы оно дало в его душе крепкий росток. За мою достаточно долгую жизнь я встречала немало людей талантливых — вернее, потенциально талантливых, — из которых ровным счетом ничего не вышло.

В памяти возникает юноша, которому я, двадцатилетний начинающий автор, невольно завидовала. Два его первых рассказа были уже напечатаны и расхвалены, а он посмеивался:

— Это ж только проба пера, заявка, чтоб звали! И его звали — журналы, газеты, литературные объединения... Он прямо-таки лучился одаренностью, с блеском, походя, будто ему ничего не стоит, разбрасывал занятные сюжеты и образы. Иногда мне казалось, что он не совсем естествен, а все время будто играет на сцене. Если его спрашивали, пишет ли он то, о чем вскользь рассказывает, он небрежно отвечал:

— Это все чепуха, вот немного освобожусь, тогда засяду за нечто та-а-кое!..

К тому времени он уже выступал на литературных вечерах и ездил в творческие командировки, подписывал договоры на повести и на киносценарии, в одной из газет в рубрике «Говорят молодые писатели» было даже его интервью... Я стараюсь припомнить его дальнейший путь, потому что в разные годы встречала его в самых разных местах — в редакциях, в коридорах киностудий, на театральных премьерах, в издательствах, и везде он был как-то слишком заметен, будто на сцене, казался своим и был запанибрата с массой людей; он давно утратил свежесть юности, облысел и односторонне, с пуза, располнел, но лучился бодренькой неутомимостью, был подвижен и, кажется, все время куда-то спешил: «Вот, повестушку пристраиваю... Проталкиваю один сценаришко на актуальнейшую тему... Немного прошвырнусь по заграницам, а уж

потом засяду...» Стараюсь вспомнить, не попадалась ли в печати или в титрах его фамилия, но ничего, кроме его лучащейся внешности и быстрых наигранно-легкомысленных сообщений о себе, так и не припоминаю...

Что же случилось? Не сумел человек распорядиться тем, что ему отпущено «от бога»? Ведь были же те первые рассказы, были!..

А на его ускользящее лицо наслаивается другое — лицо человека мрачноватого, молчаливого, приносившего свои рукописи свернутыми в трубку и совавшего их в руки редактора как бы из-под полы, чтоб никто не увидел. Мне он с первого появления в редакции понравился, этот молчун, взяли рукопись — ох, какое крепкое начало! Как здорово увидено!

— Товарищи, послушайте, ведь хорошо!

Слушали, кивали — да, хорошо, да, берет быка за рога.

Но что это? Как-то вдруг все стало рассыпаться, мельчать, уже ни быка, ни рогов — невнятица с проблесками летучих находок. И так раз от разу. В его рукописях чувствовался несомненный талант, но талант увязал в зыбкой неорганизованности, в незавершенности мысли и формы. Автор охотно слушал добрые советы и замечания соглашался с ними, искренно увлекаясь, фантазировал, что и как допишет, доделает... Он никогда не доделывал. Исчезал надолго, снова приносил как бы тайком свернутую в трубочку новую рукопись... Опять слушал, увлекался, фантазировал — и ничего не осуществлял. На *постоянное усилие* его не хватало.

Знала я и человека, которого можно назвать противоположностью двум первым. Кажется, вся его жизнь была сплошным усилием, он работал сосредоточенно и страстно, отделявая каждую строку, мучаясь над каждым словом; он гордился тем, что не позволяет себе написать больше одной страницы в сутки. Когда он однажды согласился показать написанное, меня охватила тоска: все вылизано языком, но за этой гладкостью исчез и недюжинный замысел, и сама жизнь... Вышивание на пальцах и литература — вещи разные.

Пожалуй, стоит рассказать и еще об одном начинающем писателе, в чьем потенциальном таланте я до сих пор не сомневаюсь. Человек уже бывалый, он выступил с повестью, которая была замечена и даже вызвала дискуссию, что само по себе успех. Мне довелось много раз беседовать с этим автором, он был умен, образован, интересно рассуждал о литературе, о недостатках современной прозы, о пренебрежении к сюжету и к развитию образа; он готовился к работе над новыми произведениями и охотно делился своими планами... И что же? Проходил год за годом, а он по-прежнему интересно рассуждал о литературе и делился планами, но рассуждения оставались рассуждениями, а планы планами...

Тоже — не хватило человека на постоянное усилие?

Или все же в этих печальных случаях речь должна идти о *личности* — об интеллектуальном богатстве и душевной глубине, о властном духовном стимуле: передать другим людям то, что ты увидел, пережил, продумал, чтоб они полюбили то, что полюбил ты сам, и возненавидели то, что ты ненавидишь, и передать не умозрительно, не утверждениями и призывами, а вводя их в круг образов, отношений и событий таких реальных, оживших под твоим пером, чтобы и читатели их восприняли своими, близкими... Без этой потребности *передать* нет писателя. Волом (по Ренару) быть необязательно и даже нежелательно, а вот целеустремленность и потребность донести до других то, что волнует тебя самого, необходимы, эти качества личности не заменишь ни вспышками фантазии, ни блесками остроумия, ни изощренностью сюжета.

Такой тонкий стилист, как Флобер, писал своему другу Луизе Колле о «безумствах стиля»:

«С каким жаром я подбирал жемчужины для своего ожерелья! Одно лишь забыл я — нить».

Ну-ка, сумеет ли кто-нибудь еще дать такое простое и образное определение формализма?..

В беседах со своим другом и помощником Эккерманом Гете высказал много мыслей, связанных с писательским трудом и с личностью писателя. Вот некоторые из них:

«Тот, кто не надеется иметь миллион читателей, не должен писать ни одной строки».

«Стиль писателя — верный отпечаток его внутренней жизни; если кто-либо хочет обладать ясным стилем, то он должен сначала добиться ясности в своей душе; кто хочет писать величественным стилем, у того в душе должно быть величие».

«Манера — это нечто такое, что всегда стремится дать готовый результат; тут нет наслаждения процессом работы. Но настоящий, истинно великий талант всегда находит свое высшее счастье в осуществлении...»

...Художников с меньшим талантом искусство как таковое не удовлетворяет; они при исполнении работы всегда думают лишь о барыше, который им даст готовое произведение. Но при таких

суетных целях и настроениях нельзя создать ничего великого».

Барыш... Вот оно, слово! Не знаю ничего более ядовитого, разъедающего талант, чем стремление к извлечению из него барыша. Тут, само собой, не о гонорарах речь, без денег не проживешь, жизнь есть жизнь, писатель так же, как любой труженик, должен получать по труду и квалификации, иначе он не сможет работать сосредоточенно, без отвлечения на побочные заработки, ездить куда ему нужно и обеспечивать месяцы кажущегося простоя, когда вроде бы полный отдых, и лень напала, и к столу не тянет, а на самом деле уже зреет, зреет новый замысел... Нет, не об этом речь. Страшно, когда деньги становятся самоцелью и душу саднит зуд приобретательства, когда изучение жизни подменяется изучением «спроса», а творческий поиск — обкатыванием модных тем и героев в предвидении легкого успеха (для чего даже существует гнусное определение «верняк»!).... Иногда утешают себя: «Я только временно, чтоб создать себе условия», постоит шагнуть по пути спекуляции своим дарованием — и незаметно утекает, утекает из души то, что ее питало...

Не о том ли прелестное стихотворение поэта Самуила Галкина, которое с юности запомнилось мне в переводе Михоэлса:

«Вот перед тобою стекло — оно прозрачно и светло, ты видишь сквозь него весь мир, всех людей — кто радуется, кто смеется, кто плачет. Но стоит тебе взять на грош серебра и посеребрить одну сторону стекла — стекло превращается в зеркало, весь мир из этого стекла исчезает, и как бы ни было прозрачно это зеркало и светло, в нем отныне ты видишь только самого себя».

Всякой настоящей работе противны мелкие цели и выгоды. Творчеству тем более.

Однажды мне довелось беседовать с начинающим автором по рукописи его первой повести. Автор, молодой инженер, хорошо знал среду заводской молодежи, о которой написал. Но рядом со страницами живыми, подлинными в повести было немало безвкусицы и штампов, автору предстояло хорошо поработать и над рукописью, и над своим литературным развитием, о чем я и сказала как можно дружелюбней. Меня удивило, что он безропотно принимал все постраничные замечания и старался тут же, если удастся — под диктовку, вносить исправления или

вычеркивать неудачные места, но с нарастающим ожесточением возражал во всех случаях, когда нужно было засесть за работу, продумать и написать какие-то страницы заново. С таким отношением к своему первому детищу я встретила впервые, мне хотелось понять, в чем тут дело; он не стал отнекиваться и запальчиво объяснил, что мои советы потребуют нескольких месяцев работы, а он надеется напечатать повесть в сборнике и рабочем классе, который уже готовится; пока он не напечатается, он не может подать заявление о приеме в Союз писателей, так что речь может идти только о мелких поправках...

— Скажите честно, чего вы больше всего хотите — стать настоящим писателем или членом Союза писателей?

Он помолчал и ответил без обиняков:

— Стать членом Союза. Потому что ради повести я ушел с завода, а моя теща не верит...

Похоже на анекдот, но, к сожалению, так оно и было. И ведь парень добился своего — повесть, почистив и подштопав руками сердобольных редакторов, напечатали, а через какое-то время автор уел тещу и желанным членским билетом. Но писатель так и не состоялся. Да и не мог состояться — при таком-то подходе к делу!..

Вот к месту еще одна мысль Гете:

«Искать славу нельзя, и всякая погоня за нею тщетна. Правда, умным поведением и всякими уловками человеку иногда удастся приобрести некоторое имя. Но если он при этом не обладает внутренним сокровищем, то его успех непрочен и его слава не переживет текущего дня».

Как это верно! В творческом труде внутреннее сокровище открывается для всех и как бы переливается в чужие умы и сердца, ведь в произведении подлинного искусства, будь то роман, поэма или симфония, сплетаются жизненный опыт художника, вся гамма его чувств и устремлений, его мироощущение, его самые пламенные надежды, самые любимые, выстраданные мысли. А если вместо внутреннего сокровища одна мельтешня суетных желаний и побуждений, что же перельется в другие умы и сердца?..

Вынимаю из кучки выписок еще одну, которая мне особенно мила. Совсем просто сказал великий композитор Гендель о том, о чем не может не мечтать каждый творческий человек:

«Мне было бы досадно, если б я доставлял людям только удовольствие. Моя цель — делать их лучше».

Наивно было бы думать, что какой-либо художник прямо ставит себе подобную задачу, начиная писать ораторию, рассказ или картину. Его томит еще не выраженный, не выстроенный мир наплывающих образов, звуков, мыслей, поиск точного их воплощения для него важнее всего на свете, даже последующего успеха. Конечно, он надеется, что созданное им дойдет до людей, затронет их души, но эта надежда живет в глубинной основе его личности; ведь по своей природе искусство не только чуткий выразитель духовной жизни общества — оно и строит ее, и проповедует ее нравственные начала. Это высшая функция искусства. Хочу подчеркнуть, что ей противопоказаны назидательность и конструирование «идеальных» образов; если они иногда прорываются в каком-то произведении, это слабость таланта, а не сила.

Вот написала я эти строки и горько задумалась, потому что знаю — случалось и мне проявлять такую слабость, и точности воплощения я далеко не всегда добивалась, и много всяких огрехов знаю за собой, больше, чем насчитывают за мною другие. Самокритика необходима, но она и опасна, можно оказаться в положении сороконожки, которую спросили, с какой ноги она начинает ходить... Что поделать! Когда собственным многолетним опытом познаешь беспощадность писательского неотпускающего труда, да еще и начнешь соразмерять сделанное с самыми высокими достижениями и задачами искусства, конечно, берет оторопь. Но тогда я утешаюсь такими вот словами Антона Павловича Чехова:

«Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять и лаять тем голосом, какой господь бог дал».

Один издатель однажды самоуверенно сказал мне, что решил отныне издавать только отличные книги.

— А от чего они будут отличаться? — спросила я. — Само слово *отличные* предполагает, что они должны выделяться из общей массы книг! Литература — процесс, в котором участвуют сотни больших и малых писателей. Искусственно сузив процесс, вы же его обедните! И где гарантия, что, не разобравшись в первом произведении незнакомого автора, вы не загубите в самом начале пути и будущего гения?..

Опыт показывает: новое дарование редко полностью раскрывается в

первой книге, оно, подобно всему живому, растет и созревает постепенно. Но все мы не раз наблюдали, как шумный успех первой книги, вознесший автора в ряды наиболее популярных писателей, кончался тем, что первая книга оставалась единственной, и не потому, что автор зазнался или не хотел работать, нет, он старался новыми вещами удержаться на достигнутой высоте, но не смог. То ли в первой книге уже высказал все главное, что хотел сказать людям, то ли растерялся от славы, то ли творческий заряд оказался слабым. Причины бывают разные, но в любом случае он мучается своей неспособностью продолжить ярко начатый путь, и не стоит досаждать ему упреками или нескромными расспросами, ведь его книга уже вошла в литературу и дала какой-то толчок общему процессу. Как редко мы думаем об этом и как мало щадим друг друга!

Литературный процесс подобен потоку, то плавно текущему на просторе, то скачущему через валуны. Гремят над ним грозы, врываются в его неторопливое течение стремительные притоки, мутят его сточные воды, иногда перед ним встают горы и нужно размывать, долбить, пробивать неведомую породу... Как всякое сравнение, и это несовершенно, но ведь у литературы действительно есть периоды тихие и бурные, и свои притоки, и выбросы низкопробной литературы, и случаются над нею грозы, и наступают времена глубочайших потрясений, когда отлетает все, что занимало вчера, и нужно вгрызаться в совершенно новый материал и под огнем, по опаленной земле ярким и точным словом пробиваться к растревоженным сердцам... У каждого писателя бывают периоды, когда он может работать с полной сосредоточенностью, и такие, когда он должен все уметь и все перенести как солдат, и периоды жадного накопления наблюдений и знаний, когда все накопленное, еще не перебродив и не отлившись в замысел, не дает ни спать, ни есть, и еще — периоды тревог и сомнений, когда чья-то нашумевшая книга или задорно-громкий приток нового литературного поколения создает новую моду, новые вкусы, и кажется, что ты устарел, появляется соблазн погнаться за новой модой, и так трудно устоять, остаться самим собой, а ведь стоит утратить самого себя, свой стиль, свою тему — и писатель пропал...

Если б все начинающие догадывались, какую мучительную судьбу они себе избирают! Но смолоду никто не задумывается о предстоящих мучениях, да и литературные пути не автомобильные, там нет предупредительных знаков — «осторожно, листопад!» или «гололед!». И молодой смело пускается в путь, ему хочется так или иначе «поразить мир» своими произведениями, его лихорадит от предвкушения удивительно интересной жизни, известности, может быть и славы. Он еще не понимает

всей меры предстоящего труда и не знает, что жизнь писателя удивительно интересна только в том случае, если он неутомимо жаден до новых впечатлений и встреч, если он не ленив и подвижен, и готов отрывать от дома, от любимых людей, от уюта благоустроенного житья, и скитаться без всяких удобств — куда повлекла любознательность, и экономить последние рубли, чтобы увидеть побольше, и, как бы ни устал, не засыпать допоздна, потому что в голове теснятся впечатления и нужно записать, «утрясти» их, пока они свежи... То есть опять же — труд. Неотпускающий труд.

Что скрывать, и мне случалось лениться, и мне по всегда удавалось укрыться от суеты и изгнать беса тщеславия, который больно колет обидными пустяками — там-то тебя не упомянули в докладе, тут обошли, еще где-то недоброе про тебя написали. Иногда кажется, что оно важно, что оно что-то определяет... И только постепенно начинаешь понимать, что сие есть тлен и суета, что истинную ценность имеет только самый труд и жизнь сделанного тобою — жизнь книги среди читателей.

К счастью для меня, я рано полюбила самый процесс литературной работы, так что мне никогда не было ни скучно, ни утомительно делать ее. Стоит сесть за рабочий стол — и все постороннее отлетает. Иногда не сразу — случается, набегают сторонние мысли, а то попросту нет настроения (его можно назвать и вдохновением), воображение как бы дремлет, слова упираются... Тогда, не насилуя себя, лучше взяться перечитывать и править написанное накануне, просматривать черновики и планы. Так постепенно втягиваешься в работу, начинаешь ощущать ее вкус и ритм, увлекаешься... и вот она неслышно входит, та самая гостья, которая не любит посещать ленивых, она кладет свои невесомые руки тебе на плечи, она склоняет над начатой страницей свое светящееся лицо с такими понятливыми, такими жаркими глазами — и вот работа пошла, пошла, пошла! Стрекошет машинка, техники письма уже не замечаешь, пальцы сами находят клавиши, поспевая за твоей мыслью, слова приходят самые нужные и точные. Не знаю большего наслаждения, чем такая работа.

Что перед этим наслаждением деньги или слава!

Смолоду слава, конечно, прельщает, ты видишь ее блеск и не догадываешься, какое это коварное создание, живущее во власти текущего дня! Как она умеет обворозжить и упорхнуть к другому! Как она беспечно отворачивается от ею же расхваленного романа ради захватывающего детектива, от модного певца ради удачливого футболиста!

Нет, оставим славу, пусть порхает как ей вздумается, поговорим о том, что определяется более скромным и надежным словом *известность*. Имя каждого серьезно работающего писателя становится известным;

временами, при успехе новой книги, она становится как бы более громкой, иногда затихает, но, в общем, с годами известность становится прочной: кто по книгам, кто понаслышке — знают. Приятно? Да, приятно. Но в молодости, когда твое только что появившееся имя еще не запомнили, понятия не имеешь о том, что приятная для самолюбия известность прежде всего песет все возрастающее чувство ответственности, что ты перестаешь принадлежать себе и *обязан*, хочешь не хочешь, откликаться на желания и даже требования множества людей.

Письма... Им радуешься, и эта радость с годами не ослабевает. Письма читателей — как бы извещения из самых разных мест, от самых разных людей: книга живет. Бывают письма восторженные и критические, с исповедями и нелегкими вопросами. Стараешься ответить на каждое. Но горка писем на столе нарастает, приходится выделять специальный рабочий день для ответов, и все равно не справляешься, отвечаешь только на самые важные, уже кто-то на тебя обижается — «вы мне не ответили!», кто-то сердится — «зазналась?».

Труднее всего с письмами-исповедями, требующими совета — как жить дальше, как поступить? Авторы таких писем верят, что писатель *знает*, что его совет будет верен. И тут, отвечая, принимаешь ответственность за ход жизни человека, которого никогда не видел...

Года за два до войны мне написала семнадцатилетняя девочка из Сочи. Письмо было слезливое: где-то идет настоящая жизнь, как у героев «Мужества», а я ставлю штемпеля на конверты и живу без всякой перспективы; мечтала поехать учиться в Институт растениеводства, стать садоводом, но мои родители болеют, помогать мне во время учебы не могут, вот и пришлось поступить на почту. Я написала ей, что ради своей мечты люди преодолевают куда большие трудности, стыдно кивать на родителей, можно, учась в институте, зарабатывать, скажем, в институтском же хозяйстве, тогда и сама прокормишься, и родителей сможешь поддержать. Письмо получилось сердитое, я даже поколебалась, перед тем как опустила его в почтовый ящик. Ответа не было. Но через полгода я получила письмо, полное благодарности «за то, что отругали», девочка сообщала, что поступила в институт, работает в оранжерее подсобницей и двадцать рублей в месяц посылает родителям; долго не писала, потому что хотела дождаться первой сессии, и вот теперь может отчитаться передо мною: отметки хорошие и отличные. Я сразу же поздравила мою корреспондентку. После каждой сессии она присылала мне полный отчет. А потом началась война... Я не помню фамилии той девочки, все ее письма пропали во время блокады, но я почти дословно

помню содержание письмеца, сложенного солдатским треугольничком, со штампом полевой почты. Оно пришло из только что освобожденного Ростова. Молоденькая медсестра увидела в какой-то газете мою статью из осажденного Ленинграда, обрадовалась, что нашла меня, и решила отчитаться: «Когда началась война, я подумала, что бы вы мне сказали, и сама поняла что, и пошла на курсы медсестер, и вот уже второй год на фронте». Я ей сразу же написала, но письмо кануло в пустоту. Ростов был снова захвачен фашистами в кровопролитных боях... Знаю одно — если бы девочка осталась жива, написала бы. Раненная, искалеченная — написала бы. Значит — погибла.

Вот уже тридцать лет прошло. Я ни в чем не виновата и не могла бы посоветовать ей ничего другого, как не сказала бы ничего другого и родным детям, но душу жжет и жжет воспоминание о той девочке из Сочи...

Мне не за что обижаться на моих читателей, они согревали и бодрили меня в самые тяжкие дни. Но я не люблю заискивания перед ними, фетишизации самого понятия «читатель», потому что читатели бывают всякие, хорошие и плохие, вдумчивые и злобно-придиричivé, люди, самостоятельно мыслящие, и люди, впитавшие из плохих лекций и статей самые примитивные представления о задачах литературы, — последние требуют от нас идеальных героев и охотно употребляют такие страшные слова, как «клевета на нашу действительность», «неоправданное сгущение красок» и т. п. А придиры, найдя в романе какую-нибудь мелкую ошибку, уже не видят в нем ничего другого и с непонятной радостью пишут гневные письма. Когда в одном романе я допустила мелкую неточность, упоминая время восхода молодой луны (в чем я, конечно, виновата, обязана была проверить!), один придира так меня расчихвости́л, будто от этой неточности изменится вращение Луны, да и всех небесных светил. На обсуждении другой моей книги под конец взяла слово пожилая домохозяйка и сказала, что она книгу читала и ничего не поняла; в заключительном слове я выразила сожаление, что она попусту потратила время, и сказала, что эта книга, видимо, вне ее интересов и опыта, нет книг, равно близких всем группам читателей. Ох, какого джина я выпустила из бутылки! В течение двух месяцев в наш ленинградский союз из самых наивторитетнейших инстанций пересылали письма этой дамы, размноженные под копирку: «В то время как партия и правительство требуют, чтобы писатели писали понятно для всех, Кетлинская отстаивает вредную идею о книгах для избранных» — и далее в том же духе. Наш милейший оргсекретарь Гриша Сергеев со стоном восклицал:

— Еще одно! Шестое! Ну чего ты с нею связалась?

Всего инеем пришло восемь.

К счастью, как мне кажется, подобных читателей в наши дни заметно поубавилось. И от непосредственных встреч с читателями обычно остается радость и нередко польза, потому что восприятие твоей книги, мысли и чувства, ею вызванные, многому учат. Конечно, если обсуждение не зарегулировано, если на встрече создана атмосфера искренности и взаимного доверия, если слишком старательные организаторы не готовили заранее выступающих, распределив между ними темы, как в школе («Женские образы в романе...», «Труд в романе...» и т. п.), и если пришли на встречу те, кто читает, а не те, кто хочет поглядеть на «живого писателя». К сожалению, не все понимают, что двух-трехчасовое собеседование с читателями — это *работа*, и работа выматывающая.

Отказываться от встреч грешно, в конце концов это пропаганда дела, которому отдана жизнь. Однако, так же как с письмами, настает время, когда отказываться все же приходится, иначе некогда будет писать. В Ленинграде, в Москве, где писателей много, это проходит незаметно, зато на выезде... Чем дальше от больших центров, тем ты нужнее людям и тем невозможней уклониться от встреч с читателями. Устал ты или занят, не имеет значения — ты *обязан*.

Чтобы пояснить, как оно получается, позволю себе рассказать две небольшие истории.

Побывав в Дивногорске на перекрытии Енисея и изрядно там поработав для своих газет, мы поехали группой писателей в Шушенское, в ленинские места, надеясь оттуда добраться выше по Енисею на Карлов створ, где группа геологов вела изыскания под строительство будущей Саянской гидроэлектростанции. В Шушенском нам сказали, что ледовая дорога на Карлов створ вчера закрыта, а другой дороги нет. Вся группа уехала, я же решила попытать счастья, уж очень хотелось увидеть в первозданном виде место, где вырастет гигант гидроэнергетики. Ко мне примкнул фотокорреспондент «Правды» Тимофей Мельник:

— Или вместе утонем, или увидим Карлов створ.

На «Волге» мы без помех добрались до базы экспедиции, находящейся в селе Майна, километрах в тридцати ниже Карлова створа. Пересекли Енисей — лед как лед, наша машина тут не единственная. Но в Майне весьма суровый начальник экспедиции сказал, что дальше лед трещит, есть приказ о закрытии дороги, так что о поездке не может быть и речи. Но ведь если вчера еще ходили грузовики, легковая машина наверняка пройдет! Мы спорили долго, не отступая. Через три часа мрачный начальник криво

улыбнулся и сказал, что чувствует себя в роли генерал-губернатора перед женой декабриста, и разрешил нам ехать, только не на «Волге», а на его «козлике» и с его шофером. Когда мы выехали, уже вечерело. Сперва мы долго переваливались с ухаба на ухаб по ужасающей дороге, которую только изыскатели могут называть дорогой. Трясло так, что вот-вот души вытряхнет. Буксовали в крутых колеях, подолгу вытягивали из них нашего «козлика». Уже стемнело, когда машина сползла на лед, и почти сразу мы услышали зловещий треск. Мы обещали ехать с открытыми дверцами, чтобы в случае беды сразу выскочить, но навстречу дул такой ледяной ветер, что мы только держались за дверные ручки. А под нами трещало и трещало, колеса то справа, то слева противно оседали, неподалеку темнели крутые скалы — если повезет до них добраться, все равно не влезть!

Было уже около полуночи, когда на другом берегу забрезжили огоньки. — Карлов створ, — сказал шофер.

И по тому, как начали передвигаться огоньки, а ветер задуть во все щели сбоку, мы поняли, что едем поперек Енисея к другому берегу. Признаюсь, мы еще крепче вцепились в дверные ручки, невольно вспоминая, какое на Енисее стремительное течение и какие глубины... Когда лед под нами снова затрещал, оседая под колесами, берег был совсем близко и мы увидели, что кто-то бежит к нам навстречу, оскользаясь на спуске...

Палаточный лагерь геологов уже спал, но дежурный подвел машину к столовой и мы оказались в блаженном тепле, кто-то уже грел для нас еду и чай... После многотрудного дня, выматывающей поездки и пережитого страха хотелось поскорее поесть горячего, улечься на любую скамейку и спать, немедленно спать... Но тут над нами захрипел репродуктор и молодой голос весело провозгласил:

— Ребята, ребята, просыпайтесь! К нам до завтра приехала писательница Кетлинская с фотокорреспондентом «Правды» Мельником. Кто хочет с ними встретиться — бегите в столовую.

Да что он, с ума сошел? Ведь язык не ворочается!..

А столовая уже заполнялась молодежью в лыжных костюмах, полушубках, свитерах. Мельник сделал несколько снимков и незаметно отвалил спать. А от меня и усталость отлетела. Я оказалась первым представителем советской литературы, посетившим экспедицию, и вопросы были обо всем на свете: от обычных «что вы теперь пишете?» и «почему вы не поженили Клаву с Андреем Кругловым?» и до вопросов, как я отношусь к Евтушенко и что думаю о «звездных мальчиках» Аксенова.

Чуть светало, когда нас повели на створ будущей плотины и мы

увидели нетронутую красоту стиснутого скалами ущелья и, закинув головы, находили на почти отвесных лесистых склонах отметины, обозначающие гребень будущей плотины. Мельник торопливо фотографировал, а я еще более торопливо расспрашивала обо всем, что меня интересовало, потому что за нами неотступно ходил насупленный шофер «козлика», которому было строжайше приказано не позже десяти утра выехать обратно. Когда мы выехали, при дневном свете дорога казалась надежнее, чем ночью, а треск льда я уже не слышала, так как спала и на льду, и на ухабах. А теперь мучительная поездка и ночная встреча с читателями вспоминаются как радость, подаренная жизнью.

Вторая история произошла у подножия Эльбруса. Тут не было никакой командировки, я приехала туда во время отдыха с друзьями — маленькая частная экскурсия. Мои спутники были учеными-геологами и рассчитывали на гостеприимство научной экспедиции, базировавшейся в Терсколе. Комендант был молод, бронзов от загара и длинноволос, что тогда было в диковинку, он явно «работал под Тарзана», но все же потребовал у нас паспорта, после чего отвел нам места в палатке и дал талоны на ужин и на завтрак. Рано утром нам предстоял подъем на Кругозор. Вечером мы пошли прогуляться вверх по горной дороге, не ставя себе никаких целей, — сколько захочется, столько и пройдем. Небо было ясно, полная луна светила так ярко, что каждый камешек на дороге отбрасывал тень, а снежные вершины сияли голубым серебром. Чем выше мы поднимались, тем прекрасней и шире была панорама окружающих гор, хотелось подниматься еще и еще. Когда мы спохватились, мы были уже очень далеко от Терскола, ноги горели от усталости, сердце билось в разреженном воздухе. И тут мы заметили два огонечка, крутившихся на бог знает какой высоте, — сверху, с Эльбруса, возвращалась машина, которая забрасывала зимовщикам продукты. Нам бы тихо идти вниз, но наши мужчины решили ждать машину. Мы прижались к скале, нависавшей над узкой дорогой. Машина мчалась по серпантину с невероятной для такого спуска скоростью. Увидев нас, шофер осадил машину, как скакуна, махнул нам — лезьте в кузов, — и только мы успели перевалиться через борт, как он уже рванул вперед. Сесть в кузове было некуда, зато по дну его свободно катался железный бочонок, который так и норовил ударить по ногам. Да что там бочонок! Шофер вытворял нечто невообразимое. В ярком свете луны он мчал нас прямо в пропасть, в последний миг резко тормозил, разворачивал машину елочкой, нависая задними колесами над пропастью, снова мчался вперед, снова тормозил, снова мчался... Клянусь, на этом сумасшедшем спуске я пережила такой ужас, какого не испытывала под

бомбежками и обстрелами в Ленинграде: ведь в мирное время, на отдыхе, среди такой красоты — и вдруг бессмысленно, ни с того ни с сего... Когда еле живые мы оказались наконец внизу, выяснилось, что наш безусый лихач совершенно пьян.

Ну ладно, постепенно пришли в себя, поужинали и уже собрались спать (до подъема осталось всего пять часов), когда ко мне подошел длинноволосый Тарзан:

— А вам придется пройти в клуб, наши товарищи узнали, что вы приехали, и хотят с вами встретиться.

Вот что значит паспортная система!..

И как теперь откажешься, если люди долгими месяцами работают в горах и вот собрались на ночь глядя, чтобы узнать литературные новости и поговорить с заезжим писателем... Сказать, что я хочу спать, что я тоже имею право на законный отдых и не обязана?.. А точно ли — не обязана?

— Спокойной ночи, — сказала я моим спутникам. — Обязательно растолкайте меня в пять.

Как я припоминаю, за всю мою жизнь был всего один случай, когда известность — нет, здесь хочется употребить более пышное определение: *слава!* — когда слава принесла мне чистейшее удовольствие без малейших примесей обязательств.

Работая над романом «Иначе жить не стоит», я целый месяц колесила по Донбассу, вживаясь в его суровые пейзажи, в неповторимые черты его городов и шахтерских поселков. Одним из моих помощников был «Зоркий» — я много фотографировала людей, пейзажи, а также технические и бытовые детали, чтобы потом, если понадобится, легче было восстановить их в памяти. Вторым и очень оперативным помощником была недавно приобретенная мною «Волга», ведомая временным шофером дядей Степой. Дядя Степа вплоть до выхода на пенсию водил милицейскую машину, именуемую в просторечии «черным вороном». Дорожными правилами он пренебрегал, машину мыть не любил, а протереть ветровое стекло норовил только со своей стороны, считая, что я машину не веду, поэтому глядеть вперед мне незачем. Вот с этим дядей Степой мы и попали в беду.

На пути в Горловку я заметила канал, по которому самотеком шла вода из Северского Донца в маловодный Донбасс. Прозрачайшая голубая вода и пологие откосы канала, выложенные белыми плитами, выглядели особенно привлекательно в этом краю, где самый воздух пропитан угольной пылью. Хотелось сфотографировать канал, по мы шли в сплошном потоке грузовых машин — не остановишься. Зато обратно возвращались в воскресенье, когда машин на шоссе мало. В поселках на

солнышке грелись старики шахтеры. Ветерок разгонял зной и вздувал серую пыль, но на пыль тут не обращают внимания, посреди дороги три милиционера зубоскалили с девушками. Объезжаем их. Впереди канал. Как было условлено, мы проехали мост и дядя Степа тут же свернул на обочину, а я побежала на середину моста, выбирая лучшую точку для съемки. Краем глаза увидела, что один из милиционеров поспешает ко мне, и на всякий случай побыстрее отсняла два кадра. Суровая рука блюстителя закона ухватила ремень фотоаппарата:

— Так вот, гражданка, я заберу ваш аппарат, засвечу пленку и отберу у шофера права.

Дело оборачивалось серьезно: и аппарат жалко, и пленку, хранящую штук тридцать очень нужных снимков, и совсем уж трагично, если у дяди Степы отберут права, — попробуй-ка получи их назад в незнакомом месте и в воскресный день!

Двумя руками прижимая к себе аппарат, в то время как милиционер тянул за ремень, я пробовала объяснить:

— Мы не знали, что здесь нельзя останавливаться и снимать...

— Неграмотные? — с издевкой спросил милиционер и показал рукой на громадный щит, который возвышался прямо напротив машины, перед носом дяди Степы: «САНИТАРНАЯ ЗОНА, останавливаться КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ».

— Мы же на минуту, — оправдывалась я, — шофер не виноват, это я велела остановиться. Я же не для себя снимаю, хочу показать людям все лучшее, что есть в Донбассе, а этот ваш замечательный канал...

Говорила я убедительно и не без подхалимства, авось милиционер — донбассовский патриот. Но страж закона был неумолим:

— Где разрешение на съемки? Если вы корреспондент, у вас должно быть разрешение на фотографирование объекта.

Ох уж эти объекты!

— Знаете, товарищ, я писатель и во многих краях побывала, о многих писала, везде фотографировала, и никогда с меня не требовали бумажек.

Мы все еще держались цепко — я за аппарат, он за ремешок. А к мосту поспешили еще два милицейских чипа, видно на подмогу. Шаг за шагом подвигаясь к машине, я старалась смягчить милиционера, а он старался не смягчиться и спросил весьма подозрительно.

— Писатель, значит? Ну и как ваша фамилия?

Я ненавижу представляться, потому что все же неприятно, когда, скажем, администратор кинотеатра, которому ты называешь себя с просьбой оставить два билета, резко говорит: «Кто? Не знаю такой. Станьте

в очередь и купите, не могу я всем оставлять».

Но тут ради спасения пленки и дяди Степиных шоферских прав я произнесла свои имя и фамилию с торжественной многозначительностью. Признаться, я рассчитывала больше на апломб, чем на литературную осведомленность милиционера, все еще не отпускаявшего ремешок.

Его подлюга была уже близко, а мне надеяться на поддержку дяди Степы не приходилось — он сжался за баранкой, втянув голову в плечи, и не подавал голоса. И вдруг произошло чудо. Спасительное чудо!

— Кетлинская?! — воскликнул милиционер. — Вера?

— Вера, — дрогнувшим голосом подтвердила я.

— Та самая? — Милиционер выпустил ремешок фотоаппарата. — Это вы написали «Мужество» и «Дни нашей жизни»?

— И «В осаде», — неожиданно пробасил дядя Степа, высовываясь из окошка машины.

Подкрепление подошло, готовое действовать по всей строгости.

— Товарищи, знаете, кто это? — обратился к ним мой милиционер, — писатель Вера Кетлинская, которая написала книги «Мужество» и «Дни нашей жизни»!

— И «В осаде», — снова подал голос дядя Степа.

А затем нам разрешили продолжать путь. Не скрою, двум другим милиционерам ни мое имя, ни названия книг ничего не напомнили. Но все трое взяли под козырек и пожелали мне счастливого пути и новых творческих успехов.

— Скажи пожалуйста, милиция знает, — бормотал дядя Степа, когда мы отъехали, и долго еще улыбался и посматривал на меня с уважением. Вот она, прелесть славы!

Ну а если говорить без шуток, то всякая известность ласкает самолюбие, но, в общем-то, затрудняет и усложняет жизнь. А если ты еще и женщина!..

Я долго раздумывала, как рассказать об одной из сторон жизни женщины, посвятившей себя творческому труду. Напрашивался афоризм: чем известней женщина, тем труднее ей быть счастливой. Но тут сталкиваешься с областью интимных отношений и можешь вот-вот выболтать что-нибудь такое, что бросит тень на другую половину человеческого рода, а зачем же мне сердить весьма весомую часть читателей!

Наудачу, мне недавно попалась публикация, в которой пересказываются суждения арабского ученого и мудреца Сиди Ахмеда бен-

Ардуна. Он жил в XIV веке нашей эры, был судьей, любил читать и размышлять в уединении и в результате написал книгу, которую назвал «Руководство к супружескому счастью». Вот я и хочу сослаться на мнение арабского мудреца, который утверждал, что женщина должна быть ниже мужчины в четырех отношениях: по происхождению, росту, состоянию и возрасту. Чтобы несколько осовременить его утверждение, мы можем заменить происхождение общественным положением, а состояние заработком, и тогда Ахмэд бен-Ардун поможет нам понять, что и ныне писателю не так легко быть женщиной.

Прикрывшись мнением мудреца, к тому же мужчины, я ускользнула от наиболее интимных проблем личной жизни. Но, кроме этих проблем, есть еще и внутренний психологический барьер, через который перешагнуть ой как нелегко! Самой природой и многовековыми традициями установлено: вьет домашнее гнездо женщина, растит детей женщина, создает уют, кормит и поит семью, привечает гостей опять-таки женщина. И даже если ее муж настолько хорош, что у него на лопатках прорезываются ангельские крылышки, он в чем-то поможет, какие-то дела возьмет на себя, но поделить все заботы поровну с женой не сумеет, да и женщина сама их не передаст. А если женщине так исключительно повезет, что она найдет няню или помощницу по хозяйству (что намного трудней, чем найти директора предприятия), все равно любые вопросы, тревоги, домашние беды будут стекаться к ней — десятки дел, возникающих ежедневно и занимающих не только время — голову.

Если мужчина — писатель, ученый, художник — работает дома, он закрывает дверь кабинета и никто к нему не сунется. Это тоже освящено традициями. Если он услышит детский плач, или звонки у входной двери, или посторонние голоса, он знает: жена помчится на плач, и откроет дверь, и примет пришедшего водопроводчика или контролера электросети. А как быть женщине — писателю, композитору, ученой? У нее нет жены!

Во времена, когда мои сыновья были маленькими, а детьми и домом управляла тетя Лина, у нас было шутовское правило:

— Если возникнет пожар маленький — тушить самим, большой — вызывать пожарную команду, а маме не мешать!

Пожаров, к счастью, не было. Ко мне никто не врывался. Но стоило выйти из кабинета, как на меня обрушивались непредвиденные дела — испортился водогрей, кончились деньги — и детские провинности: у одного парня двойка в дневнике, у другого, любящего «химичить», на кухне взорвалась какая-то мерзость и по квартире ползет вонючий дым... Тут двери не закроешь, ты — мать, хозяйка дома, главнокомандующий и

верховный судья...

Сколько раз я вспоминала мамины слова, которыми она напутствовала меня семнадцатилетнюю: «Любовь, семья, материнство берут много сил и много души. Можно ли совместить их с творчеством — не знаю. Но подчинить их творчеству, поставить творчество на первое место, от многого отказаться, наступать на свою женскую слабость, на легкомыслие, на домашние заботы — надо!»

Что ж, так и было. Подчиняла, ставила работу на первое место, отказывалась, наступала...

В тяжелые дни мои друзья-товарищи утешали меня однообразно: ничего, ты сильная. А мне иногда кричать хотелось — к черту! сколько можно! Это, наверно, такое блаженство — дать волю женской слабости...

Но когда я думаю о судьбе некоторых хорошо мне известных женщин, которые год за годом разменивали свое призвание на сотни женских забот и слабостей, когда я вспоминаю, как постепенно, незаметно для них самих угасал их творческий дар... Нет, все правильно. Надо быть сильной — а там пусть разрывается сердце.

На этом можно покончить с внутренними психологическими трудностями, тем более что в самом творческом труде писателя и других предостаточно. Не за рабочим столом, тут все равны, были бы способности и трудолюбие, а вот в процессе повседневного накопления впечатлений и знаний, во встречах с нужными работниками, в деловых поездках, когда так важно быстро нащупывать контакты с самыми разными людьми, вызывать их на откровенность, а еще важнее наблюдать их в повседневном быту и привычном труде, когда они не думают о том, что их наблюдают, и каждый таков, какой он есть.

Везде, где общение возникает естественно, без официального знакомства — в комнатах общежития, в поезде, в местах, отведенных для курения, — там, где мужчине все просто, женщине все сложно, с ее появлением обычно исчезает непринужденность, а то и затухает разговор, и нужно немало опыта и такта, чтобы переступить «рубеж отчуждения».

А какие иногда возникают печальные или смешные неожиданности!

После войны, работая над романом «Дни нашей жизни», я около трех лет состояла в партийной организации турбинного цеха Кировского завода. Поначалу было трудно войти в жизнь цеха, но постепенно ко мне привыкли, перестали замечать, уже не думали, что любой человек, с которым я разговариваю, «войдет в роман». Бывала я везде, где хотела, на всяческих заседаниях, конечно, избегала, разве что решалось что-либо спорное, из-за чего в цехе бурлили страсти. Однако меня все чаще

спрашивали: а на утренних планерках вы были? Стала выяснять, в чем дело, говорят — много потеряли, начальник цеха ведет эти планерки с юмором и блеском, получается прямо-таки спектакль, народу набивается — сесть негде. Ну как я могла упустить такую сочную деталь цеховой жизни? Приезжаю раненько утром на завод, за три минуты до начала планерки вхожу в кабинет начальника, а там и шагу ступить нельзя, полным-полно народу. Вижу, что приткнуться негде, но все же прошу разрешения присутствовать. У начальника цеха вытягивается лицо, он кисло разрешает. Кто-то высвобождает табурет, и его передают из рук в руки над головами сидящих. И вот начинается планерка... скучнейшая из всех, на каких мне когда-либо приходилось присутствовать. Начальник жует резину, никакого спектакля, на лицах ни одной улыбки. Потихоньку зеваю, но досиживаю до конца. Скука беспросветная. Спрашиваю одного из тех, кто уговаривал прийти: где же юмор, где спектакль?

— Виноват, не сообразил. Понимаете, у нас одни мужчины, так что начальник обильно сдабривает свои реплики солеными словами, иногда такое завернет, что все за животы держатся. А когда вы появились, он испугался, как бы при вас не сорвалось лишнее, ну и стал сам на себя не похож.

Бывало и хуже. Когда тот же роман был написан и условно принят в одном из журналов, мне пришлось основательно поработать, добавляя производственные описания и сцены (этого требовали все рецензенты, такая была мода). Я смутно ощущала, что роман грузнеет и скучнеет, но общее мнение как-то действовало и на меня, во всяком случае я старалась написать новые страницы как можно лучше и точнее, без развесистой клюквы. Моим добрым советчиком стал опытный инженер с другого завода, хорошо знающий производство наиболее крупных современных турбин. Худенький, болезненный, со следами тяжелых ранений, он казался очень славным человеком, заинтересовался моей работой и дотошно проверял каждую строчку. На заводе приткнуться было негде, поэтому я приглашала его после работы к себе домой, а тетя Лина кормила нас вкусным обедом, ну и водочку, конечно, ставила на стол. Один раз совместили работу с обедом, второй раз... На третий жду я своего консультанта, а его нет и нет. Тетя Лина ворчит — пельмени сохнут, она их налепила целый лист. Наконец звонок. Открываю — передо мною стоит высокая жгуче-черная женщина с пронзительно горящими глазами, и эти глаза без стеснений окидывают меня подозрительным взглядом с головы до ног и с ног до головы. А за ее плечом раздается смущенный голос:

— Вот, жена захотела прийти со мной... Если не возражаете...

Познакомьтесь, пожалуйста...

Тетя Лина, уловив ситуацию, застыла в дверях кухни со скалкой в руке. Кое-как знакомимся, я предельно любезна, черная женщина злобно отводит мою любезность:

— Пришла поглядеть, какие такие консультации, что приходит домой — от него водкой пахнет.

Объясняю как могу, тетя Лина от себя добавляет — мол, вы сами хозяйка, вам пришли бы помогать, неужели не угостили бы?.. Не верит. Обедать отказывается. Кое-как уговариваю ее сесть за стол. Пельменей берет три штучки и ковыряет их вилкой, рюмку брезгливо отстраняет:

— Я эту гадость не потребляю!

С трудом доведя обед до конца, прошу у моей черной гостьи извинения — нам нужно работать.

— Ну-ну, — цедит она сквозь зубы и усаживается на диван.

Даю ей журналы, она их отбрасывает и не сводит с нас мрачного взгляда. Читаю страницы, нуждающиеся в проверке. Мой консультант сегодня особенно придирчив, дотошен, рисует мне детали турбины и схемы технологических процессов, требует, чтобы я записывала все уточнения. Читаем дальше — то же самое. Краем глаза вижу, что моя гостья начала перелистывать «Огонек». Читаю по второму разу страницы, выверенные в прошлый раз, — снова придирки, объяснения, чертежи... На прощанье гостья даже извинилась за вторжение, но в дальнейшем я предпочитала советоваться с ее мужем на заводе.

Во время писательских кочевий приходится сталкиваться с представлениями о том, что женщине нельзя разрешить то, что разрешается мужчине, а иногда и с ветхозаветными предрассудками.

Совсем еще молодым литератором впервые приехав на Дальний Восток, я, естественно, старалась увидеть как можно больше и ничего интересного не упустить: пройти с бывшим партизаном по партизанским тропам, спуститься в угольную шахту, выйти в море на подводной лодке, побывать на морском дне с водолазами и многое другое. С подводной лодкой все сорвалось за полчаса до выхода в море, увидеть дно бухты Золотой Рог через стекло скафандра мне удалось только благодаря начальнику ЭПРОНа Бауману, веселому и лихому человеку, с которым мы сразу нашли общий язык (и как этот водолазный эпизод мне пригодился, когда я писала водолаза Епифанова в «Мужестве»!). Было еще одно место, где побывать хотелось непременно, — Миллионка. Но как туда попасть?

Даже нынешние владивостокские жители, наверно, не все знают, что это было, Миллионка тридцатых годов!

На тогдашней окраине города обширный квартал был огорожен, подобно крепостному сооружению, сплошными линиями домов, а вернее — одним чудовищным домом, согнутым на углах и образующим замкнутый четырехугольник. Все этажи были обнесены узкими металлическими галерейками, сообщавшимися между собою наружными лесенками, на галерейки выходили все двери и окна, так что из любой квартиры в одну минуту можно было убежать и вверх, и вниз. Это было «дно» портового города, густо и беспорядочно заселенное; тут укрывались налетчики и воры, проститутки и скупщики краденого, мошенники и спекулянты, крепко связанные с контрабандистами, переправлявшими через границы наркотики, и потайно содержавшие притоны опиумокурильщиков и морфинистов; сюда стекались выпить и погулять матросы всех национальностей, здесь навсегда оставались люди опустившиеся, спившиеся, обезумевшие от наркотиков... Мне говорили, что имелось два решения о ликвидации Миллионки.

— Миллионку снесут с лица земли, иначе ее не прикроешь, — сказал мой новый приятель Ваня Демчук, секретарь владивостокского комсомола. — Конечно, стоит поглядеть ее, пока она еще есть. Я тебе достану мужскую одежду, и пойдем.

Когда я надела брюки клеш, тельняшку и куртку, а волосы забрала под сдвинутую набок кепку, в зеркале появился озорной мальчишка, юнга или рыбак, которому вполне подходило моряцкой походкой вразвалочку побродить по загадочной Миллионке. Тут была доля авантюризма? Допускаю. Но писателю такая «доля» необходима не только смолоду, но и на склоне лет, если он хочет все видеть и все познать. Ведь не знаешь, когда что пригодится. О доживающей свой век Миллионке я ничего не написала, но когда в «Мужестве» писала притон Пака и самого Пака, я хорошо знала, откуда взялся этот юркий коварный кореец и почему он так люто ненавидит всех, кто несет Дальнему Востоку новую жизнь.

Итак, я была готова к походу на Миллионку. Но об этом как-то узнало начальство и подняло шум: писательницу?! Женщину?! Переодетой?! А если ее разоблачат и побьют, а то и убьют — кто ответит?! И, запретив мое переодевание, придали нам спутника — переодетого в штатское начальника отделения милиции... того самого района, где находилась Миллионка и где, конечно, и стар и мал знали его в лицо!..

Перед нами шагах в десяти три парня рыбацкого вида спокойно прошли в ворота той самой походочкой вразвалку. Но стоило нам приблизиться к воротам, как сидевший во дворе древний старец, не меняя позы и почти не двигая губами, издал какой-то гортанный крик вроде «э-эй-

о-а!», и этот крик стал повторяться как эхо и во дворах, и на галереях. Какие-то люди заскользили по лестнкам и галерейкам, какие-то двери захлопали — и все стихло. Правда, нам все же удалось увидеть один притон морфинистов (страшное зрелище! — больше десятка полуголых мужчин, густо покрытых черными точками от уколов, с отупелыми лицами и мутными глазами, лежали как трупы на циновках); зазевавшийся хозяин успел припрятать только самый морфий и шприц, он низко кланялся и ломаным языком уверял, что тут его друзья отдыхают после обеда. В другой комнатке, похожей на щель, мы застали двух женщин — одна лежала на кровати и курила опиум, другая, хозяйка, ринулась спасать трубку, но начальник опередил ее и подарил трубку мне (эта диковинная трубка черного дерева, с медными кольцами долго хранилась у меня в Ленинграде как трофей). Курильщица плакала, хватая начальника за руки, и убеждала его, что больна и лечится опиумом... Остальные злчные места как сквозь землю провалились, начальник милиции рассказывал, что почти каждый раз застает перемены — где была квартира из трех комнат, осталась одна комната, а две исчезли и следа дверей не найдешь, где был кабак — ютится многодетная семья, детишки ползают, а куда кабак перебрался — поди найди! Под конец мне в утешение начальник арестовал хозяйчика «исчезнувшего» притона и пошел с ним вдоль галереи, а нам велел не спускать с него глаз, а то проморгаем самое интересное; я смотрела во все глаза, но арестованный вдруг метнулся к стене, ударился об нее и будто растворился в воздухе. Мы с Ваней щупали каменную кладку стены, ударялись боком в том же месте — никакого намека на потайную дверь... В общем, кое-что занятное я все же повидала и узнала, но как раздражали гортанные выкрики по ходу нашего передвижения! И кто знает, сколько интересного я не увидела!..

Во время той же поездки я вылетела из Хабаровска на Сахалин на гидросамолете, который вел тогда еще молодой и популярный лишь на Дальнем Востоке, а впоследствии широко известный полярный летчик Мазурук. И этот милый парень поставил как бы последнюю точку по поводу того, что женщина все же существо низшее. Мы попали в густой туман и совершили вынужденную посадку, как думал летчик, на озеро Большое Кизи, а на самом деле на Малое Кизи, такое мелководное, что гондолы нашего самолета проскрежетали по песчаному дну. Рейс был грузовой, и пришлось потратить часа три на то, чтобы вытащить из самолета в надувную лодку все грузы, а затем отправить их через протоку на Большое Кизи. Я отказалась плыть в лодке, предпочитая рискнуть вместе с летчиком, так как безгранично верила в авиацию и в мастерство

авиаторов, но именно мне Мазурук сказал:

— Э-эх, знал же я: если берешь в самолет женщину, надо в противовес обязательно взять кошку!

В 1942 году Ольга Берггольц, Вера Инбер и я выехали в Кронштадт для выступлений перед моряками и летчиками на кораблях и на базах. Нас окрестили «женским литературным десантом» и принимали с исключительной сердечностью. Меня особенно тянуло к подводникам и в отряд «морских охотников», и на то была особая причина. Крупные корабли были заперты в Кронштадте и на Неве, они могли только поддерживать осажденный Ленинград огнем своих могучих батарей. Балтику простреливали с берегов и бомбили с воздуха, ее плотно начинили минными полями и плавучими минами. Каждый поход был смертельно опасен, но наши подводные лодки одна за другой выходили в море, топили немецкие транспорты и боевые корабли иногда ценою собственной гибели... В то время, когда мы выступали в Кронштадте, из двухмесячного автономного плавания должна была вернуться подводная лодка Л-3 под командованием Петра Денисовича Грищенко. В походе участвовал мой муж, морской писатель Александр Зонин. Если... да, так мне и говорили — если Л-3 удастся преодолеть минные поля, она послезавтра выйдет к острову Лавансаари, где ее встретят «морские охотники», чтобы сопровождать до Кронштадта.

— А нельзя ли мне пойти на одном из катеров?

Катерники отвечали, что в принципе можно, если разрешит высокое начальство. Мне удалось получить разрешение от самого командующего флотом адмирала В. Ф. Трибуца, после чего мне дали койку на базе и познакомили с командиром «охотника», с которым мне предстояло на рассвете идти на Лавансаари. Условились, что в пять ноль-ноль за мною зайдет офицер.

С половины пятого я сидела у окна, высматривая, не идет ли офицер. Пять ноль-ноль... Четверть шестого... Половина шестого... Да, случилось самое худшее — Л-3 подорвалась на минном поле, встречать некого...

Пробегая мимо стоянки катеров в штаб, я заметила, что нескольких «охотников» нет. Ушли на Лавансаари? Забыли про меня? Но как могли забыть, когда есть приказ командующего флотом?!

Командир отряда ответил со смущенной улыбкой:

— Понимаю, нехорошо вышло, но вы на нас не сердитесь, Вера Казимировна. Мы, конечно, не такой уж суеверный народ, но все же... Поход опасный, а есть такая примета, что женщина на борту...

Вот так!..

Роман «В осаде» я писала в осажденном Ленинграде, что определило и некоторые достоинства, и недостатки романа. Если бы я начала эту работу после войны, я бы, вероятно, не задавалась целью охватить и город, и фронт, и флот, я бы сумела понять, что во всем, что связано с жизнью и борьбой ленинградских горожан, я сильна знанием, а во фронтовых главах буду слаба, потому что подчинена полученному материалу, скована отсутствием непосредственных впечатлений. Но шла война, блокада продолжалась, и мне казалось, что охватить все стороны нашей обороны необходимо, наши судьбы не отделишь от армии и флота: корабли вон они, на Неве, приросли к стенкам набережных и затейливо закамуфлированы, а фронт на городской окраине, пешком дойти можно... Я и бывала — то пешком, а чаще на попутках — на многих участках фронта, беседовала со множеством фронтовиков, десятки офицеров и солдат охотно помогали мне «изучить материал». Только годы спустя, когда начали выходить книги Бондарева, Бакланова, Василя Быкова и других писателей, пришедших из самого пекла боев, я ощутила полностью, что значит подлинное знание, власть пережитого и хотя бы недолгая отстраненность от военных событий, позволяющая охватить целое и отобрать главное — главное, чем живет человек на войне. А в те давние дни я добросовестно старалась все охватить, то есть как можно больше видеть, как можно тщательней изучать.

С флотом было проще, я больше знала о флотской жизни, дружила со многими моряками, а «звездные налеты» немецкой авиации не только видела — я сама жила «в зоне» этих налетов; артиллеристы «Октябрьской революции» рассказали мне, какие новинки они удачно применили при отражении этих волн бомбардировщиков, налетавших со всех сторон, а потом позвали меня на учение и «проиграли» весь бой; еще до того я знала, как погибали во время налетов моряки, один из них был моим приятелем, и у меня в руках был дневник молодого офицера, который стал дневником одного из моих героев.

Труднее всего давались танкисты. Еще до войны я бывала у конструкторов и в цехах, где создавались наши мощные танки, а в войну не раз видела, какими они возвращались на завод из боя, часто бывала в темных, промерзших цехах и писала очерки о том, как старики и мальчишки слабеющими руками все-таки ремонтировали разбитые танки, чтобы снова отправить в бой... Но вот сам бой?.. Я зачастила во 2-ю танковую бригаду, стоявшую на городской окраине, в Благодатном переулке, и танкисты рассказывали мне и о первых неравных боях, и о последующих танковых засадах, очень характерных для нашего фронта. Я уже выбрала боевую ситуацию для двух моих героев, когда в бригаде

произошло волнующее, прямо-таки ошеломляющее событие — мощный танк КВ благодаря исключительно удачному стечению обстоятельств разгромил из засады колонну из сорока двух немецких танков. Командиру дали звание Героя Советского Союза, об этой победе много писали в газетах, естественно, что в самой бригаде об этом только и разговору было, а уж мне советовали все:

— Вот о ком надо писать!

Я радовалась вместе со всеми, нам в то время так нужны были хотя бы частные победы... и написала все как было (за исключением того, чего человек, не побывавший в танковом бою, почувствовать не может). Но эта глава все же выпирала из романа, потому что у искусства свои законы отбора и обобщения. Впоследствии при каждом переиздании я смягчала и упрощала этот бой, снимая исключительность, а в процессе работы смутно ощущала неудовлетворение, сокращала подробности, перенесла центр тяжести на внутреннюю, психологическую тему: два закадычных друга, у одного громкая победа и Золотая Звезда на грудь, у другого был длительный неравный бой, но он *всего лишь* не пропустил немцев — это будни, он со своими товарищами в тени...

В общем, мне нужна была *обычная* танковая засада. И мне необходимо было хоть что-то испытать самой, побывать в танке и проделать в его душном чреве обычный переход на позицию, почувствовать, что такое засада, пережить долгие часы настороженного ожидания, а может быть... а может быть... Танкисты, с которыми я успела подружиться, предлагали: попроситесь на сутки в засаду, мы вам все покажем и расскажем.

Командир и комиссар бригады вопреки моим опасениям отнеслись к моему желанию одобрительно, приказали подобрать для меня обмундирование по росту, а мне велели во всем подчиняться командиру танка. В назначенный час, когда могучий КВ должен был выходить на позицию, я переоделась и, счастливая, поскрипывая новыми сапожками, побежала к танку. Командир помог мне взобраться на свою махину, а затем влезть внутрь машины через люк, что оказалось не очень удобно; веселый радист, посмеиваясь, предупредил — не крутитесь, враз шишки набьете! Но я даже не успела оглядеться, как наверху что-то случилось; командир, пригнувшись, сказал: «Вас требуют», я сунулась к люку и услышала зычный голос, повторявший:

— Писателя немедленно в штаб! Писателя немедленно в штаб!

— Давайте вылезайте, — сказал командир, протягивая руку. — Выясните, в чем дело, только поскорей.

Ох-ох-ох, нетрудно было догадаться, в чем дело! В последнюю минуту

командир и комиссар заволновались, не попадет ли им; комиссар позвонил начальнику политуправления Ленфронта К. П. Кулику, а Кулик наорал на него: вы что, с ума сошли?! Известную писательницу, женщину — в танковую засаду?! А если будет бой, если она погибнет — кто будет отвечать?!

На следующий день я вдрызг разругалась с Куликом, но в танковую засаду так и не попала.

Плохо ли, хорошо ли быть и женщиной, и писателем, но могу повторить — ни о чем не жалею и свою профессию не променяла бы ни на какую другую. А препятствия постепенно научаешься обходить, сама работа учит некоторым приемам, ее облегчающим, особенно в общении с малознакомыми людьми и в так называемом изучении материала. Я не люблю этот холодноватый термин; неосведомленные читатели, слыша, как писателей призывают «изучать жизнь», предполагают, что процесс творчества в том и состоит: пришел или приехал, изучил, написал. А процесс куда сложнее.

Писатели часто получают наивные письма от очень юных людей, убежденных, что у них есть литературные способности, так как они писали сочинения на пятерки и печатали стихи в школьной стенгазете; вопрос всегда один и тот же: «Что нужно, чтобы стать писателем?»

Я отвечаю: *жить!*

Это не отписка, это правда. Жить как можно активней, горячей, общительней — таков, в общем-то, главный метод нашей работы. Ведь люди, о которых пишешь, не возникают во время «изучения материала», они как бы выходят из копилки наблюдений тогда, когда окажутся нужными, или тогда, когда сами настойчиво постучатся в твою душу — напиши! Нас любят спрашивать о прототипах героев, иной раз читатели и особенно читательницы просят даже сообщить «настоящую фамилию и адрес, чтобы завязать переписку». А у меня таких прототипов раз-два — и обчелся, да и те, конечно, послужили лишь толчком, отправной точкой для создания образа. Как он создается, рассказать трудно, знаю только, что из множества людей постепенно выделяются чем-то наиболее интересные, к ним присматриваешься, к ним день ото дня приближаешься, улавливаешь и их особенность, и типичность, и настает время, когда из десяти реальных людей одного склада, одного типа рождается одиннадцатый, сложившийся в твоём воображении, и начинает жить своей собственной жизнью... Чтобы рожденные воображением были живыми, знакомств и наблюдений должно быть много. И еще чрезвычайно важна протяженность наблюдений — чем дольше, тем надежней.

Произошла со мною история, многому меня научившая. Перед войной я заинтересовалась борьбой нескольких молодых инженеров-химиков за новый метод подземной газификации угля. Борьба была драматична, противники были сильны. На последнем этапе этой борьбы на их сторону вдруг перешел один из противников — перешел и с огромной энергией поддержал их в роковую минуту, когда казалось — все гибнет. Авторы метода прямо-таки влюбились в него, я тоже. В начатом перед войной романе неожиданный друг — я его назвала Алымовым — был самым расположительным героем... К счастью, война прервала эту работу, а когда через несколько лет после войны я возобновила встречи с подземгазовцами, выяснилось, что и они, и я страшно ошиблись, друг оказался расчетливым карьеристом, понявшим, что нужно вовремя «поставить на другую лошадь», он и поставил ставку на молодежь, учуяв их правоту, а потом, в новой ситуации, с той же ловкостью подлеца изменил им, да еще и навредил как мог...

Кстати, наша профессия — одна из немногих, если не единственная, у которой нет скучных объектов познания. Писателю интересен и подлец, и дурак, и демагог, и мещанин — надо же их рассмотреть, вдруг понадобятся в работе! Был случай, на одной из строек ко мне привязался несомненный дурак — кажется, хотел «попасть в роман», но, понятно, в качестве умного. Товарищи меня жалели — зачем вы на него время тратите, неужели не можете шугануть его? Я только посмеивалась, не решаясь признаться, в чем тут дело.

Главный материал, из которого возникают и образы, и темы, и книги, — жизнь самого писателя, то есть среда, в которой он постоянно вращается, круг его интересов, раздумий и мечтаний, все то, чем живет его душа. Если восприимчивость и наблюдательность называть «изучением», что ж, тогда писатель изучает жизнь круглосуточно, без передышки. Изучает других и себя самого, даже в лютом горе где-то рядом живет неотступный наблюдатель: «Вот как оно бывает...»

Но в нашем труде существует и более простое, деловое «изучение материала» со своей технологией, с выработанными приемами. Обычно это работа вторичная, дополнительная, когда уже ясны контуры будущей книги, уже дышат и просятся на бумагу люди, которые эту книгу населят, но не хватает реальной обстановки и подробностей их труда и быта, когда все это нужно добирать — и добирать с запасом, не жалея времени и сил. Когда-то я даже установила цифровое обозначение этой работы: чтобы написать одну страницу, нужно быть в состоянии написать о том же тридцать страниц. Чрезмерная дотошность? Нет, желание творческой свободы.

Нужно хорошо *знать*, чтобы воображению было просторно и слова приходили не вымученные, а самые нужные.

В процессе такого изучения очень важно, чтобы люди, которые тебя окружают, забыли, что ты писатель, и, уж во всяком случае, не думали: «Пишет о нас роман». Если так думают, начинается вольное или невольное прихорашиванье, подгонка живых фактов под «то, что надо для печати», и мало кто способен быть вполне откровенным.

Чаще всего я прибегаю к приему, который для себя называю — сторонний повод. Возник он во время поездки на Дальний Восток совершенно произвольно: я уже писала некое произведение о молодежи, которое потом переросло в роман «Мужество», в связи с этой работой мне и захотелось побывать в Комсомольске-на-Амуре, но денег на поездку не было, поэтому я взяла в «Комсомольской правде» командировку «с целью написания серии очерков о молодежи, осваивающей Дальний Восток». Вот эта серия и стала моим сторонним поводом: в какие-то дни и часы я беседовала с нужными людьми, собирала цифры и факты для очерков, в остальное время просто жила среди прототипов своих будущих героев, дружила и спорила с ними, ходила к ним в бараки и землянки, танцевала, когда они танцуют, купалась в Амуре или шла на прогулку в тайгу, когда они купались или гуляли.

На заводе я применяла этот метод уже сознательно. В ударном квартале, очень напряженном по выпуску трелевочных тракторов и турбин, я предложила заводской газете «Кировец» открыть рубрику «Время не ждет»; вместе с группой рабкоров мы прослеживали путь дефицитных деталей, искали узкие места и виновников того или иного срыва... Так выявлялись качества разных людей, ответственных и неотвественных, во время наших рейдов! Одни выкручивались, валили на поставщиков или на соседа, другие честно говорили — я виноват! Находились и очковтиратели, и любители радужных обещаний — мол, завтра все исправим, только не пропечатывайте!.. Тут уж никто не думал о будущем романе, думали о следующем номере многотиражки...

Много разных сторонних поводов применила я на заводе и каждый приносил пользу, а главное — я стала в цехе своей, меня уже не стеснялись. А когда по инициативе кировцев меня выбрали депутатом Ленинградского Совета от большого жилмассива на Турбинной улице, неподалеку от завода, столько прихлынуло ко мне бытовых, и семейных, и трудовых историй, конфликтов, наболевших вопросов! Решение некоторых из них требовало длительных усилий, отнимало массу времени и выматывало душу, но зато сколько было радости, когда удавалось добиться решения и я

видела, как светлеют лица намаявшихся людей!..

Быть *соучастником*, а не наблюдателем жизни — вот самое ценное, что можно посоветовать любому пишущему. В дни войны и в дни мира. Ценой усталости и траты драгоценного времени — окупится сторицей! Пока есть силы, не щадить себя — сил прибавится.

В свои восемнадцать лет я обо всем этом понятия не имела и вовсе не думала, что решение, принятое за сорок пять минут, переламывает мою собственную судьбу. В седьмом часу утра, подходя к фабричной проходной в толпе по-утреннему хмурых, молчаливых или грубовато-шумных работниц и рабочих, я представляла себе, что вот так же робко переступит порог фабрики моя Натка, и ее бережно подхватит рабочий коллектив, и направит, и распрямит, и, конечно, тут она встретит славного парня, похожего на Борю Котельникова с «Электрика». Могла ли я предвидеть, что мой наивный замысел полетит вверх тормашками, что жизнь далека от идиллии и все повернет по-своему!

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)